Военные Приключения

МИЛОСЕРДИЕ ПАЛАЧА

И. БОЛГАРИН В. СМИРНОВ

Виктор Васильевич Смирнов
Игорь Яковлевич Болгарин

Милосердие палача

Серия «Адъютант его превосходительства», книга 3
Серия «Военные приключения»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=336782
ие палача. Адъютант его превосходительства. Кн. 3: Вече; 2006
ISBN 978-5-4444-7766-3

Аннотация

Как стремительно летит время на войне! Лишь год назад Павел Андреевич Кольцов служил «адъютантом его превосходительства». Всего лишь год, но как давно это было… Кольцов попадает туда, откуда, кажется, нет возврата – в ставку беспощадного батьки Махно. А путаные военные дороги разводят Старцева, Наташу, Красильникова, Юру. Свой, совершенно неожиданный путь выбирает и полковник Щукин…

Содержание

Глава первая 4
Глава вторая 25
Глава третья 30
Глава четвертая 47
Глава пятая 62
Глава шестая 74
Глава седьмая 100
Глава восьмая 115
Конец ознакомительного фрагмента. 132

Игорь Болгарин, Виктор Смирнов Адъютант его превосходительства Милосердие палача

Глава первая

Туман медленно рассеивался, и то, что еще совсем недавно выглядело таинственно и угрожающе, приобретало очертания приткнувшихся к песчаному берегу кораблей и барж. Они теснились, словно скот на водопое. Возле судов сновали солдаты, которым через несколько минут предстояло идти в бой. Они ставили прочные дубовые сходни. По сходням нехотя, с опаской, подталкиваемые людьми, спускались лошади. Едва сойдя на берег, лошади, подогнув ноги, падали на песок.

Командующий десантом Яков Александрович Слащев с небольшого пригорка наблюдал за выгрузкой десанта и недовольно хмурился. За пригорком, где находилась Ефремовка, начинали глухо пощелкивать в сыром воздухе оружей-

ные выстрелы, пока еще одиночные, прикидочные, но явно свидетельствовавшие о том, что десант обнаружен и противник пытается угадать направление главного удара, чтобы там сосредоточить свои малые силы. Слащев был осведомлен, что Ефремовка охраняется одним полком, изрядно потрепанным, недоукомплектованным. Лучших командиров и красноармейцев забрали на польский фронт. Оставшиеся же должны были подготовить пополнение из местных парней, которые воевать не только не умели, но, похоже, и не очень хотели.

Взгляд Слащева задержался на расторопном капитане-артиллеристе Барсуке-Недзвецком, а по-военному – просто Барсуке. Тот возникал то возле одной баржи, то возле другой, на кого-то покрикивал, где-то подставлял плечо.

«Вот на таких армия и держится», – одобрительно подумал он.

В офицеры, как помнил Слащев, Барсук выбился из вольноперов[1], после двух лет службы наводчиком да краткосрочных курсов. Первая мировая, она же Великая, многих вот так выдвинула из грязи в князи. Барсук гордился своими звездочками на погонах и двумя Георгиями на груди. Он словно был рожден для войны. Видать, и война поняла и полюбила его.

---

[1] Вольнопер – вольноопределяющийся, то есть военнослужащий, добровольно вступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования и пользующийся в армии определенными льготами.

Барсук на глазах Слащева из шести утопленных в разгрузочной сутолоке пушек четыре уже выволок на берег. Мокрый и грязный, но весело скалящийся, он шагал среди лежащих на берегу лошадей, отыскивая не поддавшихся качке.

– Гляди, какая скотина лошадь! – орал он, обдаваемый брызгами волн. – От грамма никотина, зараза, сдыхает, от полстакана водки шалеет, а от шторма ложится, как свинья… А еще на четырех ногах. Почему мы, двуногие, все терпим?

Сотня солдат, таких же мокрых с головы до пят, как и Барсук, да пятерка лошадей тащили по зыбучему песку уже пятую пушку.

– Француженка моя! – поцеловал Барсук ствол вытащенной из воды семидесятипятимиллиметровки. – Красавица худосочная!.. Соленая, зараза!

Мимо Слащева пробегали казаки и поднимались на пригорок. Встреченные нестройными залпами, они, не приученные воевать в пешем строю, залегли.

Красноармейцы полка Короткова, изредка отстреливаясь, лихорадочно окапывались на узком перешейке между лиманом и селом. Почва была легкая, копали быстро, но песок вновь осыпался – и получались не окопы, а черт знает что, какие-то ямки для детских игр. Настроение у бойцов было скверное, все понимали: понакидают беляки шрапнельных гранат – не спрячешься. И все равно работали шанцевым ин-

струментом споро: хоть задницу от пуль спрятать – и то дело.

Пыль стояла столбом и оседала на потные гимнастерки. Туман уже рассеялся, и начало пригревать солнце.

Коротков, глядя с крыльца на широкую полосу пыли, окутывавшую околицу села, орал в телефонную трубку:

– Всего высаживается около десяти тысяч… Что значит «невозможно»? Невозможно голым задом на еже сидеть. А у меня верные сведения, надежный человек у плеча, он подсказывает.

Кольцов действительно стоял рядом, и Коротков по-свойски весело ему подмигнул.

– Высаживается корпус генерала Слащева, в авангарде у него конная бригада Шиффнер-Маркевича. И еще Восьмой кавалерийский полк с конной батареей. Шиффнер-Маркевич с казачками по берегу лимана вроде на Акимовку чешут. А Слащев пока тут, возле нас обретается. Видать, скоро вдарит… Во-во! Потому и говорю «видать», что не знаю, по сопатке влупит или под зад коленкой… Ну что ты мне, Михал Иваныч, все про субординацию! Мне теперь, Михал Иваныч, смерть принимать надо, не до ваших умных слов!..

Кольцов с горечью вслушивался в громкую и резкую речь комполка. Этот мужик понравился ему сразу, и было ясно, что он со своими ребятами здесь, на этом песчаном перешейке, и останется, ляжет под напором слащевских колонн. А что Слащев воевать умеет – и красные и белые хорошо знают. Настоящий военный талант. Коротков ли ему помеха?

Кольцов был рад, что судьба в конце концов вывела его на Короткова, который сразу же, с первых слов, поверил и ему, и истинности его поспешного, захлебывающегося в словах доклада. Этот бывший унтер-офицер царской армии сразу понял, что Слащев, и только Слащев, способен на такой невероятный, рискованный десант, на высадку целого корпуса, да еще в шторм, да еще в Кирилловке, на острие самого дефиле, где противника ну никак не могут ждать. Даже высокообразованный начштаба Тринадцатой армии Михаил Иванович Алафузо не смог бы предугадать такой операции.

Коротков бросил трубку на телефонный аппарат, вытер взмокший лоб.

– Ну что? Все же поверили? – спросил Кольцов.

– Видать, дошло. Зашевелились, мать…

– Ты вот что, Коротков! – Голос Кольцова зазвучал строго, по-приказному. – Вели-ка выдать мне винтовку. Не могу же я у тебя тут, в самом деле, за штатского ходить!

Коротков оскалил белые ровные зубы. Было ему лет двадцать пять, и семь из них он провел в войнах. Всего нагляделся.

– Э нет! В цепь я тебя не пошлю, – сказал он. – Мне лишнего мертвяка не надо. У меня своих скоро считать не пересчитать. А ты, видать, птица особого полета. И выходит так, что моя задача тебя сберечь и в штаарм живым и целым доставить… Словом, вот что! Ты умойся, а то кровь на лице, и возьми мою командирскую фуражку – больно вид у тебя

невнушающий. Я сейчас всю полковую документацию вместе с особистом в тыл на всякий случай отправляю. Поедешь с ним… пока, может, проскочите… А со мной тебе делать нечего, у меня тут задача солдатская, простая, как котелок: стоять – и все… Прощай, браток, а дело ты сделал большое. Я так понимаю своим церковно-приходским умом, что, если б не ты, отрезал бы Слащев почти всю Тринадцатую армию и прижал бы ее к Крымскому перешейку, а оттуда бросил бы главные силы… Так? И была бы Северная Таврия открыта, как глечик с молоком для кота… А теперь еще будет вопрос: что у кого и как получится. Не застрянет ли голова кота в этом самом глечике?

Он рассмеялся. Почти беззлобно.

– Вот Слащев гнида. Схватывались мы на перешейке весной, и там он меня бил, учил уму-разуму. А теперь, похоже, окончательно доучит… Ну прощай!

Ладонь у него была по-крестьянски грубой и крепкой.

Через полчаса Кольцов ехал на бричке по мирной, тихой таврической степи, которая, кажется, веками, тысячелетиями была вот такой же, как сегодня, безмятежной. Хотя, если вспомнить, ой-ой сколько летело в этой степи голов, сколько лилось крови, сколько насыпалось курганов над могилами вождей и полководцев…

Рядом с Кольцовым покачивался на сиденье крепко сбитый, с выпуклой грудью, охваченной ремнями, коротыш: то-

варищ Грець из Особого отдела дивизии, прикомандированный к Короткову. В ногах у них лежал сундучок с секретной документацией, который и надлежало отвезти в тыл.

Грець барабанил пальцами по деревянной кобуре маузера, недовольно щурил глаза. Он хотел остаться в полку, чтобы там принять бой, может быть, поддержать людей, повести в контратаку, а может, залечь с «льюисом», верным ручным пулеметом, позади окопов, чтоб, значит, не пробовали бежать от беляков красные герои. А сейчас «льюис» с круглым рубчатым диском и толстым защитным кожухом, помятым во многих местах, подпрыгивал на сундучке без всякой боевой пользы.

А еще Коротков на прощание, поднеся к носу Греця пролетарский кулак, чтобы яснее дошли слова, приказал доставить в штаб Тринадцатой этого незнакомого человека в полуштатской одежонке, смысл существования которого был Грецю совершенно неясен. Принес важные сведения, конечно, но кто он – перебежчик, изменивший своим, или верный советский товарищ, может быть, даже член партии большевиков, это было Грецю непонятно.

Мысли у Кольцова тоже путались, но по иным причинам. Слишком много событий произошло за последний день. Высадка десанта, «плен», Емельянов, возможный расстрел, Дудицкий, скачка на издыхающем жеребце… Таврическая степь колыхалась в мареве. Дальние курганы, на которых застыли каменные «скифские бабы», плавали в потоках тепло-

го воздуха.

Кольцову не терпелось в штаб Тринадцатой. Поняли ли они весь смысл операции Слащева, да и вообще угрозу Республике, исходящую из Крыма, где Врангель за два месяца подтянул, укрепил войска, как следует их вооружил, зарядил яростью и бросил в Северную Таврию, как бы подсекая фланг всей Красной Армии, ведущей тяжелую, смертельного смысла войну с Польшей Пилсудского. Но по песчаному, вязкому шляху кони тащились так неохотно! Лишь на уклонах ездовой, поправив на спине карабин, подскакивал, кричал страшным голосом, похлопывал старых кляч вожжами – и тогда бричка, кряхтя, переваливаясь, катилась вниз и появлялся легкий ветерок движения…

Как медленно! Словно в старые мирные времена. А между тем в эти минуты переворачивается новая страница русской истории. Только легкомысленный человек может считать наступление Врангеля авантюрой. Это – запал к гранате. Сам по себе запал – не оружие. Но если… Если исстрадавшаяся, голодная и недовольная Россия ответит взрывом… Куда будет направлен этот взрыв?

– Эй, Бурачок, куда топаешь? – услышал Кольцов сквозь дрему сиплый басок Греця.

Они поравнялись с группой людей, ездовой попридержал упряжку, и кони охотно перешли на медленный шаг, отбивая хвостами мух. Двое вооруженных красноармейцев сопровождали мужика и бабу, по виду типичных селян. Стар-

шой из конвоиров кроме винтовки имел еще и револьвер в кобуре, на голове была мятая морская фуражка со звездочкой.

– Как велели, товарищ Грець, – ответил он. – В тыл для разбору. Как подозрительный элемент…

– Понимаешь? – обратился Грець к Кольцову. – Вчера под вечер врангелевский «ньюпор» над хутором пролетел, а они давай белье развешивать… И белое и цветное… Я враз и догадался, а что, ежели они семафорят? Ну сигналы свои злодейские подают. Нас, моряков, на мякине не проведешь… Вот и Артюх, он тоже моряк. Скажи, Артюх!

– Известное дело, – отозвался Артюх.

– Вот! Это ж вчера было. А теперь все и прояснилось. Ты понял, Артюх? Врангель с моря прет, сигнала дождался!

Кольцов поймал на себе отчаянные, испуганные взгляды арестованных.

– Ну и чего теперь делать? – спросил уставший, потный Артюх.

– Чего делать! Известно, стоять насмерть! Так что давай поворачивай обратно в Ефремовку. Там теперь каждый штык на счету.

– А этих?

– Ты чего, вчера народился? – зло сказал Грець. – Время военное! Нечего с ими адвокатуру разводить!..

Ездовой стегнул кнутом лоснящиеся спины лошадей. Кольцов услышал сзади резкие, эхом уносящиеся в степь вы-

стрелы. Оглянулся: мужик и баба лежали у дороги, а конвоиры трусцой бежали назад, к Ефремовке.

– Какое ты имеешь право? – закричал Кольцов Грецю, чувствуя, что скулы сводит лютая ненависть к этому самоуверенному коротконогому особисту. – Хуже белого палача! Вот в Мелитополь доберемся… все сделаю… под трибунал пойдешь!

Грець равнодушно и даже презрительно посмотрел на Кольцова. Глазки у него были маленькие, глубоко упрятанные в сеточку морщин. Два жала.

– Ты, товарищ, или, может, гражданин, лекцию мне не читай. Сам грамотный, – тихо и ласково сказал он сквозь зубы. – Военный момент, я и тебя могу до штаба не довезти, оч-чень даже свободное дело.

И он положил руку на темную, в насечке, рукоять маузера, что высовывалась из деревянной кобуры, как из норы.

Кольцов заставил себя успокоиться. Еще секунда – и он схватился бы с этим крепышом Грецем и с ездовым, который не остался бы безучастным. Скорее всего дело бы кончилось не в пользу Кольцова. Ну и кто бы доложил в штабе о планах Слащева и Врангеля? Кто, кроме него, обладает этой секретной информацией, ради которой столько людей жертвовали своими жизнями?

– Я не шучу! Я потребую разбора и суда! – твердо сказал Кольцов, не желая сдаваться: Грець мог принять его молчание за испуг.

– Ой-ой! – Одна щека у Греця странным образом поползла вниз. – Гляди какой юрист! Пристяжноповеренный – октябрист умеренный! Ты мне еще про указ об отмене смертной казни напомни… – Он внезапно приблизил свое лицо, обдав Кольцова табачным дыханием. – Только, свободное дело, ты забыл, что мы в зоне боевых действий и на эту зону указ не распространяется. Понял, юрист?

Кольцов отодвинул от себя Греця плечом. Но продолжал смотреть ему в глаза, стараясь выразить взглядом полное спокойствие и даже легкое презрение. Сейчас это было его оружием. Единственным.

И еще он подумал о том, что там, в штабе Армии, или в другом месте, куда забросит его судьба, надо будет хорошенько разобраться. Нет, не только с Грецем. Во всем разобраться. Время стремительно меняет людей и законы их жизни. Только курганы и каменные бабы кажутся вечными и незыблемыми.

Надо разобраться. Он теперь путешественник, ступивший на землю после долгого плавания.

Суда разгружались медленно. Совсем не так, как рассчитывал Слащев, когда сидел у себя в салон-вагоне над картами. Сказывались и усталость солдат, и шторм, укачавший даже лошадей.

И все же лошади, слегка отдышавшись, стали понемногу подниматься на нетвердые еще ноги и тянуться мягкими гу-

бами к серебристым веткам диких маслин и дерезы.

Слащев окончательно убедился, что все идет хоть и не так, как хотелось, но все же сносно, пошел от берега моря в сторону Ефремовки. Вместе с солдатами, на ходу заряжающими винтовки, поднялся на пригорок: увидел вдали, в конце большого пустыря, поблескивающие под утренним солнцем оконца Ефремовки. Ему бы сейчас коня, но все пригодные лошади были заняты, они вяло тащили к полю боя пушки и подводы с боеприпасами и радиостанцией. Изредка чирикали над пустырем пули, и сладостно было это пение для генерала. Кончилась тыловая нуда, кончились ночи, полные сомнений и раздумий, началось дело. Его дело!

Развернув на зарядном ящике карту, Слащев еще раз продумал операцию… Ефремовка не в счет, ее практически уже нет. Дальше – Акимовка, станция верстах в тридцати пяти от Мелитополя. Красные не успеют подготовить ее оборону. Главное, что они пока еще либо ничего не знают о десанте, либо не понимают ни его смысла, ни его силы. Они, конечно, будут думать, что здесь высадился всего лишь диверсионный отряд.

Пусть помучаются в раздумьях еще час-другой, и казаки Шиффнер-Маркевича, Восьмой полк и Кубанская бригада выйдут к Акимовке, а оттуда помчатся вдоль железной дороги к Мелитополю и как снег на голову свалятся на штаб Тринадцатой армии со всеми их красными генералами, с Паукой и Эйдеманом, этими жестокими прибалтами. В Трина-

дцатой, лучшей на Южном фронте, полным-полно «интернационалистов» – эстонцев, австрийцев, латышей, китайцев, «красных мусульман». То-то будет потеха захватить эту международную компанию!

Но не это главное. Это – для «шороху и шуму», отвлекающий маневр. Основные свои силы Слащев повернет на запад, охватывая с тыла те дивизии Тринадцатой, которые обороняют Крымский перешеек и не дают корпусам Кутепова и Писарева вырваться со стороны Чонгара и Перекопа на таврический степной простор. «Краснюки» окажутся в ловушке. Тринадцатая перестанет существовать, и вся Северная Таврия окажется в их распоряжении – кати на север, запад, восток, подавляя разрозненные атаки со стороны спешно идущих резервов. Какая картина! Какая замечательная картина!

Слащев вспомнил, как он бил красных зимой и весной, прикрывая Крым разрозненными частями, состоящими из наспех мобилизованных тыловиков, студентов, из недообученных юнкеров. Он бился не на перешейках, он давал большевикам, упоенным легкостью перехода, выйти на студеную крымскую равнину и там укладывал под огнем, морозил их как следует, а затем наносил фланговые удары по уже деморализованным войскам. Красных было до двадцати тысяч, а у Слащева тысячи три-четыре солдат – с бору по сосенке… «Крымский черт» – так называли тогда Слащева большевички.

Сейчас же у него корпус, прекрасно подготовленный для

длительных и трудных боев… И этот корпус уничтожит, развеет по ветру прославленную Тринадцатую, которую Троцкий назвал «оплотом Юга»…

Слащев оторвался от своих сладостных размышлений и оглядел поле предстоящего боя. Стрельба не разгоралась. И с той и с другой стороны словно накапливали заряд злости, чтобы вскоре сойтись в смертельной схватке.

«Надобно бы помочь казачкам», – подумал Слащев и обернулся, поискал глазами артиллеристов.

– Барсук! – окликнул он, и на удивление быстро, почти тотчас, перед командующим возник все еще мокрый и припорошенный белесой песчаной пылью, но, как и прежде, весело скалящийся капитан.

– Я тут, Яков Александрович! В выбалочке рядышком расположился! – совсем не по-уставному отозвался Барсук, и это почему-то даже понравилось Слащеву. Не многим позволял он такое обращение, только тем, к кому испытывал особое расположение, завоеванное не в одном бою. А Барсук у Слащева был чем-то вроде талисмана, он не однажды своими пушками творил настоящие чудеса.

– Подсобил бы казачкам! – тоже не приказным тоном как бы попросил Слащев – такая была у них игра. – Попробуй-ка бризантными! А?..

Минуты через три, сняв пушки с передков, расторопный Барсук начал пристрелку по окопам шрапнельными. Первые стаканы лопнули высоко, и по их желтым дымам Барсук

сменил прицел и трубку. Теперь дымки вспыхивали уже как раз над песчаными ямками, в которых лежали, постреливая, красноармейцы. Шрапнель накрывала их градом. «Марианки», как называли артиллеристы скорострельные французские пушки, выплевывали в минуту пятнадцать снарядов.

Когда Слащеву показалось, что весь пустырь перед Ефремовкой перепахан, он приказал прекратить огонь и двинул пехоту. Казаки и солдаты поначалу шли, низко пригибаясь, а затем, будучи уверенными, что впереди их уже не ждет опасность, распрямлялись и вышагивали во весь рост. Слащев втягивал ноздрями запах гари и порохового дыма. Был он для него слаще кокаина. Да и какой кокаин на фронте – тьфу! И так каждый нерв дрожит, и сердце упоено азартом и риском, и мысли рыщут лихорадочно в поисках правильного победного решения.

Слащев не хотел задерживаться здесь, возле этой богом забытой Ефремовки. Он рвался дальше, к Акимовке. Именно там должен был воплотиться в жизнь его хитроумный план. Победа добавила бы к его уже завоеванному в боях титулу «спасителя Крыма» титул «освободителя Таврии». Он жаждал этого. Его честолюбие жаждало. Слащев привык к восхищенным взглядам, приветственным возгласам, букетикам цветов, которые бросали ему дамы. Слава – еще более манящий наркотик, чем кокаин. Ее всегда мало. Генерал знал, что заслужил признание своими победами и своей кровью, которой немало пролил от Влоцлавска до Ростова. Семь

жестоких ранений отзывались болями, лихорадкой, бессонными ночами.

Звук длинной пулеметной очереди оторвал Слащева от размышлений. Зачастили винтовочные выстрелы со стороны красных, ударила уцелевшая у них пушчонка, и снаряд лег посреди цепи наступающих солдат. Застрочил еще один пулемет…

Солдаты и казаки начали ложиться, прижиматься к спасительной земле. Потом у кого-то из них не выдержали нервы, он побежал обратно, к ложбине. За ним бросились еще несколько.

Слащев понял, что застрял. И пожалел, что недооценил потрепанный полк и решил взять Ефремовку, не подготовившись, еще до того, как полностью выгрузится с судов весь корпус и получат хоть небольшую передышку и люди и лошади. Но больше всего пожалел, что еще затемно, первыми, выгрузил казаков Шиффнер-Маркевича и тихо, в обход Ефремовки, отправил их на Акимовку…

Целый день шел бой. До самой ночи. Поначалу красноармейцы отбивались из своих, вырытых прямо на пустыре перед Ефремовкой, неглубоких окопов. А к ночи огнем ощетинилось село.

И как издевательство, как насмешка над наступающими, глядели на них из палисадников роскошные летние красные цветы. И источали дурманящие запахи, которые, перемеши-

ваясь с пороховой гарью, тревожили и бередили душу и вызывали неосознанное, но непреодолимое желание жить.

И вновь, как уже не однажды, Слащев решил прибегнуть к испытанному им оружию. Он приказал к утру выдвигаться на позиции оркестру. Бледные трубачи прошли мимо генерала, стараясь держать шаг.

Слащев велел денщику подать взятую однажды в музее гусарскую парадную форму образца 1910 года: доломан, обшитый золотыми шнурами, ментик со смушковой оторочкой, шапку с султаном и белые чакчиры. В этой форме он ходил на Махно, когда атаман прорвал деникинские тылы, и только Слащев смог разбить анархистское войско.

Наглый этот цветастый наряд, служивший отличной мишенью для любого стрелка, почему-то ошеломлял противника, а своих веселил и воодушевлял. На то и «крымский черт», чтоб веселить!

– Господи, да где ж я это отыщу? – стонал денщик Пантелей. – Ведь не в вагоне, где шкафчики-полочки… Небось мятое лежит, неглаженое на подводе.

Но все требуемое достал и помог натянуть, приговаривая:

– Генерал-лейтенант как-никак на командном пункте обязаны… И Нина Николаевна мало что тяжелы, да еще поранетые. Как она без вас, в случае чего, не дай бог!

– Молчать! – прошипел Слащев, нагоняя на старика столбняк.

Он пошел к оркестру, который на ходу уже грянул Преоб-

раженский марш. Поднялись цепи. Ударила вся подошедшая к этому времени артиллерия, начальником которой Слащев назначил Барсука, назвав его полковником.

Начал обозначаться успех. Стихала стрельба.

Барсук, прячась за артиллерийским щитком от все еще огрызающегося пулемета, еще около часа выбивал красных из хат Ефремовки. Соломенные крыши, иссушенные солнцем, вспыхивали, как коробки спичек. А напоследок Барсук вогнал несколько осколочных в мезонин единственного в селе каменного дома.

И стало тихо. Даже шум прибоя, даже шелест листвы словно замерли на время.

Бывший российский вольнопер Славка Барсук вынул из-за уха и сунул в рот папироску: он свое дело сделал. Перевязанная рука – пуля пробила мякоть предплечья – плохо сгибалась, и наводчик поднес капитану зажигалку.

Закурив, здоровой рукой Барсук нащупал в кармане гимнастерки завернутый в тряпицу перстень с редкостным колумбийским изумрудом. Цел!.. Единственная память о покойных родителях, разоренном имении. Пуще всего Барсук боялся пули или осколка в левый нагрудный карман.

– Пробьемся дальше – будешь начальником корпусного дивизиона, – сказал подошедший Слащев. – С повышеньицем!

Генерал знал: если б не храбрость капитана и его пушкарей, они бы здесь еще сутки ковырялись. Быстро вершатся

карьеры на войне!

Из разрушенной хаты солдаты вытаскивали красного комполка.

– Постой! – сказал Барсук, вглядываясь в убитого. – Ей-богу, Коротков! Мы с ним под Осовцом вместе унтерские лычки получали… Гляди, выдвинулся у красных. Смелый, ваше превосходительство!

– Похороните по-человечески! – сказал Слащев.

Хоронить убитых пришлось наказать крестьянам, выползающим из погребов. Слащев рвался дальше… Марш-марш! Вроде бы одержана победа. Но на душе у генерала было муторно. Он утерял внезапность наступления. Красные наверняка уже подтягивают резервы.

Из порванной гусарской шапки Слащев достал осколок. Излетный: оставил только царапину с запекшейся кровью. Отдал шапку Пантелею:

– Зашей. Да поаккуратней. Еще пригодится.

Попробовал приложиться к фляжке с виски – тяжесть в груди не спадала, настроение не улучшалось. А что, если красным стало известно об операции с десантом еще до высадки? А быть может, и то главное, что знали немногие, – ее далеко идущие цели? Мысль о предательстве, внезапно поселившаяся в его сердце, не давала покоя и лишала уверенности. Кто? Когда? Как? Он перебирал все обстоятельства подготовки десанта и его высадки – и не мог понять. Даже предположить. Все было засекречено так, как никогда не за-

секречивали еще ни одну важную операцию.

На несколько часов он улегся спать прямо на движущейся крестьянской телеге, куда Пантелей заботливо набросал сена. Скрипели колеса. Ездовые негромко подгоняли все еще не до конца пришедших в себя после штормовой качки лошадей. Но сон не шел.

В это самое время в Мелитополе, в штабе Тринадцатой, командарм Иоганн Паука, на ходу сдававший дела, и новый командующий, Роберт Эйдеман, обсуждали тот самый план Слащева, который явился белому генералу в минуту вдохновения. Перед ними лежали листки, исписанные твердым почерком Кольцова: «Операция “Седьмой круг ада”, ее задачи и конечная цель». То, что Слащев был задержан у Ефремовки, пусть и ценой гибели полка Короткова, давало им возможность правильно распределить силы.

Наперерез Слащеву выдвигались все возможные резервы… На рысях шла свежая конная дивизия имени героя казака Блинова. На путях у Мелитополя-Товарного пыхтели три бронепоезда с мощной морской артиллерией, с привязными аэростатами наблюдения. Эйдеман и Паука знали, что Слащев в конце концов опрокинет их силы. На то он и Слащев, гений войны.

Но Тринадцатую армию, гордость товарища Троцкого, они слопать ни за что ни про что не дадут. И под расстрел идти не хочется, и гордость не позволяет. И какой бог – хотя

прибалты хорошо знали, что бога нет, и церкви старательно ломали и долбили снарядами, – какой бог, какой счастливый ветер прислал им этого Кольцова? Не будь его, идти бы Эйдеману и Пауке ко льву революции, Льву Давидовичу, наркому военно-морских и сухопутных сил товарищу Троцкому, для короткого разговора и еще более короткого и скорого суда.

Глава вторая

Со времени знакомства Старцева с управделами ВУЧК Гольдманом у профессора началась совсем другая жизнь – упорядоченная и осмысленная.

Едва светало, Иван Платонович поднимался с постели и неторопливо ходил по квартире, ожидая, когда можно будет идти на службу. Это он так для себя назвал свое дело – службой. А как еще можно было назвать его ежедневное присутствие в принадлежащем ЧК приземистом особнячке?

Вот уже больше недели с утра и до позднего вечера Иван Платонович с помощью еще двух приставленных к нему молоденьких чекистов наводил порядок в харьковской сокровищнице. Рассортировывал драгоценности. Камешек к камешку раскладывал по цвету, прозрачности, по весу, точнее сказать, по каратам и по всяким иным качествам и разновидностям. Что-то, полагал он, следовало отправить в музеи, вплоть до Эрмитажа. Например скифские украшения. Туда же должно было отправить немногие редчайшие монеты, случайно оказавшиеся среди не представляющих большого интереса частных коллекций: «семейный» полуторник, рубль Константина, рубль Анны «в цепях», два уникальных античных кизикина из шести, известных в мире, ну и различные более поздние редкости, такие, например, как свадебная диадема княгини Вишневецкой. Все это профессор

упаковал в отдельные ящички и коробочки, снабдив каждый уникум пространными описаниями и ссылками на различные источники, где эти предметы уже упоминались.

Кроме того, Иван Платонович завел картотеку, куда заносил все рассортированное им: каждый камешек, каждую редкую и не очень, но представляющую определенный музейный интерес вещицу. Работа эта все больше и больше нравилась ему. Она была близка его любимой профессии – археологии – и требовала такой же тщательности и скрупулезности. За работой он не успевал замечать, как отгорали летние дни, и почти не ощущал одиночества.

Случалось, он и ночевал здесь, в особнячке, в бывшей комнате прислуги: ему это разрешалось как особо доверенному лицу.

Иногда по вечерам к нему в гости и попить «мерефского» травяного чайку заходили сторожа, все больше из полуинвалидов красноармейцев. Под тихий и уютный шумок самовара они вели неспешные разговоры (а то и споры) о жизни, о будущем. Но больше – о предмете, которым занимался сейчас Иван Платонович: о камнях, золоте и других ценностях, об их вреде и пользе для людей.

– Объясни мне, Платонович, – запросто обращался к нему казак Михаленко, побывавший и урядником, и командиром бригады, и полковым комиссаром. – Богатства здесь, к примеру, огромнейшие, можно даже так выразиться – первейшие. Это здесь только… А сколько их вот так же собрано по

всей России!.. И какой затем выйдет из них прок, на какие светлые дела пойдут? Всякое там золото, бруллианты – они к чужому карману как к магниту тянутся. Не растащат ли их по дороге?

– Что ты, что ты, Иван Макарович! – махал руками Старцев, весь в упоении бриллиантовой мечты. – Все это пойдет на образование твоим детям и внукам, на детские дворцы, на больницы, на просторные жилища для рабочих…

– Это верно, – соглашался Михаленко. – Это складно и по мысли очень прицельно. Только из золота дворцы или больницы не сложишь, так? Стало быть, надо все это продать, чтобы обратилось в деньги, да? А кому продать? Своим буржуям – так у них же и отнято. Мировому капиталу? Он за полную цену, зная нашу нужду, не возьмет. Так, может, даст хлебушка осьмушку… Не получится, что мы, собрав в кучу такие роскоши, станем беднее, а? Ну как бы в принципе хотя бы научном, скажем… Мол, отняли у себя по полной цене, а отдали дяде за полушку?

Иван Платонович, пораженный этой мыслью, долго не отвечал. Витиеватый, но весьма убедительный ход рассуждений бывшего урядника заставлял его сосредоточиться, словно над внезапно осложнившейся шахматной партией. Он и сам не однажды размышлял над тем, что драгоценности эти политы чьими-то слезами, а может, и кровью. Ведь все это был результат реквизиций, конфискаций – и ладно, если из стальных равнодушных банковских сейфов, а если из теплых

квартир, из семей, где каждая ниточка жемчуга или колечко принадлежали или предназначались кому-то, обладающему лицом, чувствами, живыми чертами: дочерям, невесткам, невестам, возлюбленным?

Но Иван Платонович недаром сформировался как революционер и демократ еще в восьмидесятые годы, когда живы были народники, когда зачитывались книгами Чернышевского о небывалых голубых городах, которые чудом возникнут среди русских холодных равнин, как только все богатства будут справедливо, поровну разделены.

– Все теперь принадлежит трудовому народу! – восклицал Старцев. – Эти украшения для пролетариата, для тех, кто всю жизнь жил тяжким трудом и не мечтал о такой красоте.

– Оно верно, – вздыхал философ-самоучка Макарович. – Но народ украшениев не носит. Нет такого большого, для всего народа, украшения. А ты нацепи какой-нибудь селяночке хорошенькой эту, как ее, ну что на голове…

– Диадему!

– Да, диадему! И селяночка из трудящего класса момент подастся в другую сторону. Получится панночка. А как же всеобщее равенство?

Вот такие случались у них разговоры за самоваром.

Лишь возвращаясь домой, Иван Платонович ощущал свое одиночество. Но твердо верил, что скоро, очень скоро кто-то из близких ему людей обязательно объявится в Харькове и разыщет его. Не может быть такого, чтоб и Наташа, и Коль-

цов, и Юра, и Красильников сгинули без всякого следа. А коль нет следа, они живы. Скрываются где-то там, на вражеской стороне, но живы!

Он был оптимистом, Иван Платонович. И верил, что уже совсем скоро наступит всеобщее счастье, а раз так, то нужно научиться терпеть и ждать.

Глава третья

Торжественно и даже празднично отчалил «Кирасон» от Графской пристани. Пассажиры собрались на палубе, вглядывались в удаляющийся белокаменный Севастополь. И когда в белесой дымке исчезла сигнальная мачта Морского ведомства и стихли вдали гортанные крики чаек, на пассажирской палубе, как вестник грядущих неприятностей, появился чумазый от сажи кочегар с лицом пойманного конокрада. Протиснувшись сквозь толпу нарядных пассажиров, он торопливо проследовал в капитанскую рубку.

Сквозь стекла рубки было видно, как капитан и кочегар, отчаянно жестикулируя, о чем-то оживленно разговаривают или, быть может, ругаются. Потом капитан передал штурвал своему помощнику, а сам последовал за кочегаром к лестнице, ведущей в трюм, спустился вниз.

А спустя еще минут тридцать капитан застопорил ход судна. «Кирасон» неподвижно застыл посреди моря. Из трубы почти не поднимался дымок, и машина там, внизу, лишь слегка вздыхала, удерживая нос парохода против волны.

– Что-то случилось? – спросил кто-то, находящийся поблизости от рубки.

Капитан помедлил с ответом, видимо прикидывая, как лучше сообщить неприятную новость, и решительно вышел к пассажирам, которые засыпали капитана вопросами,

несмотря на то что он поднял руку, ожидая тишины.

– Нам придется какое-то время дрейфовать, пока там, на берегу, найдут уголь и на лихтере переправят нам, – в наступившей наконец тишине сообщил он. – Я только что связался с берегом, но ничего утешительного мне пока не сказали. Но… будем надеяться.

– Но почему дрейфовать?

– Дабы сэкономить ту сотню пудов угля, которая может пригодиться на крайний случай. «Штормовой запас»!

– Как? Вы отправились в рейс без угля?

– Уголь был. Только вчера утром – я сам присутствовал – забункеровали около трех тысяч пудов. Вполне хватило бы до Стамбула… и еще был бы резерв…

– Так где же он?

– Украли! – Седоусый вежливый капитан развел руками. – Да, господа: украли!

– Этого не может быть! – закричали сразу несколько пассажиров-технарей, которые хорошо представляли, что такое три тысячи пудов угля. – За сутки?

– За ночь. Я тоже не верил. И только что спускался в трюм. Угольные ямы пусты. И двое кочегаров не пошли в рейс. Просто не явились к отходу, – оправдывался капитан.

– Но ведь три тысячи пудов! За одну ночь!

– Россия, господа!.. – сказал капитан, и это был, пожалуй, самый сильный аргумент. После этих слов даже самые недоверчивые поверили. В какой-нибудь другой стране на

то, чтобы выгрести из угольных ям почти три тысячи пудов угля, понадобилась бы добрая неделя. Да и не двум кочегарам. Впрочем, сколько человек орудовало здесь, тоже неизвестно.

Трудно представить, и как это было сделано. Даже угольной пылью на палубе не наследили. Повсюду была такая чистота, что никто из команды, если верить капитану, до самого отхода не удосужился заглянуть в прикрытые брезентом угольные ямы. Фокус почище, чем у знаменитого иллюзиониста Гудини.

– И что же будем делать? – спросил кто-то из дотошных. – Может, есть смысл вернуться?

– Вряд ли мы дотянем до берега, – спокойно сказал капитан. – Тем более что и ветер не благоприятствует!.. Нет-нет, господа! Будем уповать на милосердие Господне!..

После всех этих объяснений мягкий и вежливый капитан вдруг превратился в наглого корсара, и даже выпачканная в саже трюмная команда, тоже высыпавшая на палубу, ожидая потехи, стала подозрительно напоминать пиратов.

Капитан пояснил собравшимся на палубе пассажирам, что даже если уголь им подвезут, его надо будет покупать. Для этого нужны деньги.

– Но ведь у вас есть деньги, – сказала пожилая дама с крохотной собачкой на руках. – В конце концов, билеты мы получили вовсе не бесплатно. Мы за них платили деньги, и немалые.

Капитан терпеливо объяснил, что по существующим законам все вырученные за билеты деньги сдаются в финансовую часть пароходства. Посему денег у него нет. Словом, на новую бункеровку нужны дополнительные взносы. Кто сколько может!

И тут же помощник капитана стал обходить пассажиров с фуражкой. Причем глаз у него был наметанный, и он безошибочно направлялся к состоятельным пассажирам. А у нищеты, не сумевшей попасть даже в третий класс и расположившейся на палубе, жалкие рубли собирали матросы, причем значительная часть мятых ассигнаций пропадала у них за воротами тельняшек.

Щукин был наслышан о таких финансовых уловках моряков, курсирующих между Крымом и Турцией. И капитанов и матросов не хватало, большая часть судов стояла у причалов или болталась на рейде, имея на борту лишь авральную вахту. Профсоюзы же, которые заключили с Врангелем соглашение, требовали для экипажей полноценных выплат и всяческих льгот. Но так как денег на выплаты не хватало, а о льготах и говорить было нечего, команды плавающих судов пытались вот таким пиратским способом вымогать себе на хлеб. С маслом, конечно.

Спустившись вниз, в кочегарку, Щукин убедился, что капитан не обманывает, что угля и в самом деле в трюмах практически не было. Эх, расстрелять бы, по примеру большевичков, капитана вместе с его хитроглазым помощником –

остальные бы враз пришли в себя. И дисциплинка бы подтянулась, в бункера почаще бы заглядывали, робу хоть перед рейсом стирали, чтобы не были похожи на разбойников. Да нельзя. Врангель и сам, быть может, скрежещет зубами от этой вселенской флотской расхлябанности, но за ним бдительно следит французская комиссия по соблюдению прав и свобод во главе с одноруким майором французской армии Пешковым, родным братом известного большевика Якова Свердлова, побывавшим даже в приемных сыновьях у пролетарского писателя Максима Горького. Воспевал, воспевал Алексей Максимович босяков, и довоспевался: они теперь и в капитанах, и в матросах…

– Пожалуйте-с, – обратился к Щукину помощник, протягивая фуражечку и между тем скользя глазами по Тане, от ног до головы.

Щукины занимали каюту первого класса, и полковника, который был теперь в штатском, помощник принял за разбогатевшего спекулянта.

– Ты глазами не зыркай, – процедил сквозь зубы Щукин. – Спущу вечерком за борт к такой-то матери – никто не увидит.

И он положил в фуражку пачку синеньких «колокольчиков». Хотя, наверно, помощник ожидал царских, просторных как простыни, «катенек» и «петенек», но все же он сделал довольное лице.

– Виноват, – сказал он. – Промашку дал. Как говорится,

обознался в тумане.

Помощник приложил ладонь к голове и исчез.

– Что ты ему такое сказал? – спросила Таня. – Он даже как-то в лице переменился.

– Пароль, – ответил Щукин. – Такой обычный мужской пароль.

Пароход болтался в море до самого вечера, когда наконец вместо лихтера с углем к ним пришел катер с неким торговым господином в грязном канотье, и тут выяснилось, что в Севастополе остался лишь неприкосновенный запас угля для военных судов.

Вечерело. На пароходе горели экономные огни, едва слышно работала машина, когда в каюту Щукиных осторожно постучался капитан. Представился. Был он вежлив и деликатен и уже ничем не походил на корсара.

– Вы, возможно, обо мне плохого мнения, но побудьте там, у них, – он махнул рукой в сторону то ли Турции, то ли Европы, – и вы меня поймете. Мы страна общинная, у нас бедных жалели, даже арестантам пироги пекли, выносили, а у них каждый за себя, и если без денег – замерзай на свалке, никому не нужен… Вы, мне еще в Севастополе докладывали, господин серьезный, понимающий. Мне то ли без дела в Севастополе болтаться, то ли рискнуть… Вы ведь тоже, я так понимаю, стремитесь покинуть Крым… Я к тому, что здесь, в море, часто попадаются турецкие шефкеты с ворованным английским углем, продают нашему брату. Коммер-

ция на ходу.

– Вы капитан, вы и принимаете решения, – сухо сказал Щукин. – И несете ответственность за судьбу людей и судна.

– Оно верно. – Капитал погладил сивые усы. – Эх, а раньше по Крымско-Кавказской линии минута в минуту ходил, хоть часы сверяй.

Ночью Таня вышла на палубу, кутаясь в шаль. Щукин, положив в карман браунинг, вышел следом, остановился неподалеку: понимал, что дочь хочет побыть одна, и в то же время она должна ощущать его присутствие, его участие и любовь. Негоже человеку быть едину. Особенно в те минуты, когда он покидает Родину, дом, и покидает, вероятно, навсегда…

Щукин знал, что и бывалые, обстрелянные офицеры, случалось, бросались вдруг вниз головой с высоких бортов, когда до них доходила наконец одна простая мысль: родных берегов больше не будет. Ни-ког-да.

Он наблюдал за Таней, стоявшей, кутаясь в шаль, у леера. Ах, красивая выросла у него дочь. Но непредсказуемы требования женской природы. Она влюбилась во врага. Монтекки, Капулетти… Будь мирное, не расколотое революцией время, отдал бы он дочь за капитана Кольцова, офицера-фронтовика, пусть и левых взглядов, – и был бы счастлив на свадьбе, радуясь ее счастью. Так это возможно, так, в сущности, близко: только зажмурься, забудь о делении на белых и красных. Русский народ, что же ты наделал, что натворил? Разделился

в себе самом, и горе тебе…

Вдруг загрохотали якорные цепи. Щукин удивился: он знал, что глубины здесь до тысячи метров. Какие якоря! «Кирасон» развернуло носом к ветру, и он вновь продолжил дрейфовать.

Отведя Таню в каюту, Николай Григорьевич поднялся в капитанскую рубку. Палуба отсюда казалась покрытой чем-то вроде кротовин – темных кочек свежей земли, насыпанных подземным зверьком. Это беженцы, у кого не было денег на каюту, ночевали, накрывшись чем попало, на палубе. Многие кучки зашевелились, когда прогремели якоря и пароход повернуло.

В рубке горели слабые лампочки, и то в полнакала. Капитан был занят, вместе со штурманом они что-то высчитывали по лоции. К Щукину тут же подошел уже знакомый ему бойкий помощник, проникшийся к полковнику чрезвычайным почтением. Покосившись на оттопыренный и утяжеленный пистолетом карман пиджака, он бойко и даже почему-то весело доложил:

– Вот-с… Турок с угольком пока не попадается. Приходится экономить последнее. Тут только вот какая беда: ветерок зюйд-вест, от Болгарии, и все усиливается. Даже если турок нам попадется, мы при такой качке уголек не перебункеруем…

– А якоря? – спросил Щукин. – Якоря зачем?

– Якоря, знаете ли, спущены всего на тридцать метров,

они тормозят дрейф своим сопротивлением и держат судно носом по ветру. Парусность меньше, не так гонит и не так качает…

Он посмотрел на Щукина, прищурив один глаз, и шмыгнул острым носиком:

– Тут еще такая неприятность. Нас гонит куда-то к Новороссийску… или к Сочи. Вот в чем дело-то. К красным гонит. Не хотелось бы, знаете, попасться…

Но при этом его темные глазки явственно говорили: «Попадемся, мне-то ничего не будет, я гражданский специалист, на этом же пароходе и останусь, а вот вам, господин с оттопыренным карманом, вам-то каково будет?»

Щукин ничем не выдал своего беспокойства.

– Если будем приближаться к красным берегам, прошу непременно доложить, – строго сказал он.

– Обязательно-с! Непременно! Но это еще не скоро… Может, через сутки, а то и поболее… И ветер к тому времени может измениться…

Но в голосе его звучали ехидные ноты.

«Господи, сколько же людей ненавидят нас, – подумал Щукин. – Жалкая кучка храбрецов сражается за Россию, гибнет, а вокруг насмешки, безразличие и даже ненависть. Не со стороны большевиков, это ладно. От своих…»

В каюте обеспокоенная Таня спросила отца, принес ли он какие-нибудь хорошие новости. Щукин не стал врать или успокаивать дочь пустыми словами. Рассказал, что дрей-

фующий пароход, по прикидкам капитана, несет к берегам красных. Но это еще неточно. Все может измениться в любую минуту.

– Ну а если это случится? – спросила Таня.

– Если?.. Надеюсь, мы найдем выход, – сказал он. – Подберем надежных людей, спустим шлюпку. Думаю, мы сможем добраться до Абхазии… За рекой Бзыбь Советы кончаются, там другая власть.

– Какая?

«А черт ее знает», – хотел сказать Щукин.

– Но может, Бог смилостивится и нам не придется плыть по морю на лодке и искать приют у добрых абхазов, – сказала Таня и прислонилась к плечу Николая Григорьевича. – У меня такое предчувствие, что все злое обойдет нас стороной!..

Щукин ощутил, как невольная влага подступила к глазу, правому, тому, что с контуженной стороны. Глаз дернулся, под веком что-то защипало, на щеку выкатилась слеза и коварно, предательски упала на Танину шею. Ну вот тебе и несгибаемый контрразведчик, железный полковник Щукин. Но Таня только кивнула головой, давая знать, что понимает отца, и еще крепче прильнула к его плечу.

Днем весь пароход был наполнен тревожными разговорами. Пассажиры передавали друг другу вести о дрейфе, о силе ветра и его направлении и о тех берегах, которые могут вдруг показаться из летней дымки. Гадали, предвестниками

чего они станут: спасения или смерти.

Капитан старался внести успокоение:

– Господа, до берега еще далеко, а флота у красных нет, одни истребители[2], которые далеко не ходят.

Какой-то шутник, багроволицый, потный господин средних лет, пояснял дамам:

– Черноморский флот благодаря большевичкам потоплен в Цемесской бухте у Новороссийска… Сами потопили. Это у нас такая традиция – свои корабли топить. «Варяга» затопили, Черноморскую эскадру еще в Крымскую войну затопили, теперь вот свои линкоры затопили… Все, что мы умеем, – себя топить.

Стоявший неподалеку пожилой матрос в сердцах дернул себя за серьгу в ухе:

– Нехорошо, барин! Вы публика образованная, зачем людей такими словами смущаете? Вы их хорошему учите, а не нагоняйте тоску. От тоски-то разбой и начинается…

Шутник умолк, еще больше покраснел и смешался в толпе.

Ветер, к общей тревоге, усиливался и все сильнее увлекал пароход к неведомым берегам. Все ходили с блокнотиками, карандашиками, решали школьные задачки: «Если ветер несет судно со скоростью два узла, то есть три целых семь десятых километра в час, то, стало быть…» Все уже знали, что такое узел, морская миля, ветер зюйд-вест…

---

[2] Истребителями назывались торпедные катера.

Так прошли еще два дня.

На шестое утро капитан радостно сообщил в рупор:

– Господа, на траверзе Сухуми! Нас относит к порту Поти.

Пароход ликовал. Это был праздник единения, первый класс обнимался с бескаютными.

Угля хватило лишь на то, чтобы раскочегарить машины и не дрейфом, а гордо, под всеми парами, войти в порт Поти.

Рейд был заполнен судами разных стран, но преимущественно под английскими флагами. Похожий на цветной матрас «Юнион Джек» был заметен чаще всего, он торжествующе трепыхался на сырых колхидских ветрах.

Поти – зона влияния англичан. Они рядом, в Батуми, с тех пор как после окончания Первой мировой вытеснили оттуда немцев и турок. У англичан есть уголь, теперь и русская нефть, они нация победителей.

Швартуясь, капитан дал несколько длинных гудков, рискуя выпустить последний пар. Не надеясь на свой английский, снял с полки и положил перед собой словарь. Он ждал англичан.

Но вместо англичан на моторном катере прибыл некий деловой человек Васо. Одетый по-европейски, но с характерной внешностью кавказца, очень приветливый на вид, он заперся с капитаном в каюте, и они долго спорили о чем-то, временами очень громко – и тогда среди пассажиров начиналась тихая паника.

Васо несколько раз выбегал из каюты, крича, что ноги его

больше не будет на этом паршивом пароходе. Капитан рычал в ответ что-то похожее на проклятья. Васо, однако, каждый раз возвращался.

– Ничего страшного, это они торгуются, – успокоил пассажиров помощник. – Извините, юг. Манера такая… Думаете, в Турции будет по-другому?

– А он кто по национальности? – спросила Таня, взволнованная вчерашним разговором о Грузии и Абхазии.

– Немножко грузин, немножко абхаз, немножко армян, немножко грек… В общем, торговый человек, – ответил помощник и вежливо взял под козырек, стараясь не смотреть на Таню.

Через час споры утихли, раздался звон бокалов, капитан и Васо вышли из каюты почти обнявшись, оба распаренные и тяжело дышащие. Васо отчалил, сделав всем, особенно дамам, несколько поклонов со снятием шляпы. А капитан, едва катер с Васо отчалил, собрал пассажиров:

– Разбойник, господа! Кровопивец! Но только у него уголь. Он его выменял у англичан за вино. Прекрасное кахетинское. Но он не хочет взамен русских денег. Здесь, господа, ходит столько бумажек, что они уже ничего не соображают… Или валюта, или золото… Прошу сдавать, господа. По силе возможности.

Снова пошел помощник с фуражкой. Важные пассажиры отыскивали в своих кошельках фунты стерлингов, доллары, франки, лиры. Помощник, как заправский счетовод, держал

за ухом карандаш и высчитывал курсы. Палубные, бескаютные, третий класс снимали с пальцев последние перстеньки, отщелкивали сережки. Щукин отыскал в портмоне заветные десять фунтов.

Таня ушла с палубы, сидела у себя, закрыв лицо руками. Было мерзко и стыдно. И обидно: за Россию и русских.

– Папа, неужели никогда не будет того, что было? – спросила она, когда отец вернулся в каюту.

Щукин промолчал.

– Может, лучше вернуться? Обратно. В Крым.

Николай Григорьевич глухо, как бы не желая того, сказал:

– Крым обречен. Рано или поздно все равно придется его покидать. Так лучше раньше.

– А если… если в Советскую Россию?

– Меня расстреляют. Да и тебе будет нелегко. Даже не берусь предсказать насколько.

Он подумал, что Таню мог бы спасти Кольцов, если его чувство так же серьезно, как чувство Тани. Но кто и где теперь отыщет Кольцова? Да и жив ли он и выживет ли в этой вселенской кутерьме? Нет. Лишь он единственный во всем мире, кто может пожертвовать собой ради Тани, ради того, чтобы ее жизнь сложилась счастливо…

– Я вижу, все в руках Божьих, и мы ничего иного не можем предпринять. Пусть будет так, как будет, – сказала Таня и ушла в пароходную церквушку: маленькую глухую носовую каютку, где были алтарь, иконостас, где горели лампадки.

…Бункеровались целый день. Матросы из корсаров превратились в рабов-негров, помогали грузчикам Васо таскать мешки с углем. Вечером торговый человек Васо прислал на пароход провизию и – как подарок дамам – несколько корзин с черешней, цветами и вином.

Глубокой ночью «Кирасон» тронулся в путь к Стамбулу, до которого теперь было в два раза дальше, чем от Севастополя.

Таня, лежа в каюте, продолжала с закрытыми глазами молиться:

– Благодатная Мария, пренепорочная и приснoблаженная Богородица, мать-заступница, убереги нас… Убереги и спаси отца моего. Дай ему силу духовную и телесную выдержать испытания в чужих краях… Благословенная покровительница наша, помилуй и *его*, пусть и безбожника, пусть и заблудшего… но и нищие духом узрят царствие Божие, разве это не верно, всемилостивейшая? И даруй им всем мир, дай им понять друг друга и сродниться душевно, им, моим близким, и всем, кого искушение ввергло в вечную распрю… объедини их… И дай мне увидеть его еще хоть разочек, хоть где-нибудь на минуту, я так мало хочу, так мало прошу, о Мария…

Николай Григорьевич, полагая, что дочь спит, достал из кармана браунинг, проверил, нет ли в патроннике патрона, отвел затвор и заглянул в темный проем. Ствол был чист… Привычно проделывая все действия, необходимые для проверки и чистки оружия, он не переставал думать о том, что

стало особенно беспокоить его в эти первые дни плавания.

Он понял, что везет Таню не в новый спокойный мир, но в мир, глубоко чуждый им, где дочь будет обречена на нищету и прозябание. О худшем думать не хотелось.

У него был некоторый запас денег, но несомненно, что на таких, как он, сразу накинутся акулы, жаждущие поживиться даже за счет беженцев. Пройдет немного времени, и они останутся ни с чем. Значит, еще в Стамбуле он должен будет раздобыть денег. И немало. Контрразведчик превратится в бандита? Ну что ж! Это не такой уж нелогичный путь. В конце концов, он будет изымать деньги только у бандитов, у тех, кто тихой сапой грабил и грабит других, ставит их в безвыходное положение.

Как это называется у большевичков? Экспроприация. Или, как говорили специалисты, «экс». Вот «эксами» они займется, пока не поймет, что Таня хорошо устроена в этой жизни.

А если он проиграет?.. Нет, он не может, не имеет права проиграть. Он будет действовать наверняка. В конце концов, он настоящий, хорошо знающий свое дело контрразведчик. В бытность в Севастополе он засек нескольких тайных богачей, которые вовсю обманывали Управление снабжения, вплоть до того, что сплавляли купленные на деньги Русской армии товары и оружие в красную Одессу. Они думают, что Стамбул защитит их своими старыми стенами? Посмотрим! И этот Федотов, представитель торгового дома «Борис Жда-

нов и Кє» – тоже темная-лошадка. Хотя богач из богачей. Проверим…

«Ты, Танюша, можешь спать и видеть спокойные сны, – подумал он, взглянув на дочь, лежащую с закрытыми глазами. – Я не дам тебе пропасть, не дам изведать нищету…» Он собрал пистолет и просмотрел патроны: нет ли заусениц, шероховатостей, которые смогут помешать подаче и выбросу гильзы. Весь этот процесс успокоил его и придал чувство уверенности…

Мерно и спокойно работали машины, и слышно было, как внизу, разрезаемая носом парохода, плещется вода. «Кирасон» уносил Таню, Николая Григорьевича и еще сотни три-четыре человек в Стамбул, к новым испытаниям, новым мытарствам.

Над морем висело огромное багровое солнце, предвещая скорую встречу с новой, таинственной землей.

Восточная сказка только начиналась…

Глава четвертая

В начале неспокойного жаркого лета, когда повсюду ходили слухи о наступлении против панской Польши, которая отхватила русские земли по правому берегу Днепра, включив в свое державное владение и «мать городов русских», Иван Платонович разбирался в присланных с Дона уже трижды реквизированных церковных ценностях.

Трижды реквизированы они были потому, что первый раз их изъяла новая советская власть из воронежских и тамбовских богатейших монастырей и храмов.

Второй раз сокровища реквизировал доблестный донской генерал Константин Мамонтов во время знаменитого рейда своей конницы за Тамбов, под Москву. Ему-то и приписали красные журналисты ограбление святых мест, но прыткий пятидесятилетний казак грабил только награбленное, благо удобно было – все уже свезли по хранилищам, по музеям. Действующих же, неоскверненных храмов не трогал, да их уже почти и не было.

Третий раз собрали уцелевшую утварь опять же в донских церквах, по хуторам да по станицам. И хотя добра к этому времени стало втрое меньше, чем при первой реквизиции, все же немало осталось еще бесценного: иной европейской стране хватило бы для вечной гордости.

Разложив самые редкие и важные сокровища на столах,

Иван Платонович восхищался украшенными драгоценными каменьями дарохранительницами и дароносицами, причудливыми сверкающими трикириями, изумительного литья рипидами и, конечно, темными иконами в дорогущих окладах, откуда глядели на профессора скорбные, вопрошающие глаза Богоматери и требовательные, строгие глаза Спаса.

И надо же было такому случиться, что именно сейчас, в это самое время, сквозь большие окна особняка, донеслись мерные, звучные удары благовеста: это на Залопанской стороне, в храме Благовещения, созывали прихожан к вечерней молитве по случаю праздника Всех святых, в земле Российской просиявших. Голос большого колокола раз за разом проникал в окна, как будто расширяя их и желая донести звучание меди именно до Ивана Платоновича. Иконы вмиг как будто вспыхнули всеми своими ризами, и глаза, глядящие из полутьмы старого письма, стали пронзительными и уже не вопрошающими, а требовательно спрашивающими о чем-то.

О чем? О залитой русской кровью стране, о пустых полях, о миллионах вдов? Профессор растерялся. Он с четырнадцати лет, с гимназической скамьи, записал себя в убежденные атеисты, но в эти мгновения память о первых годах жизни, память о живой детской вере, об ангеле-хранителе, который неотступно следует за каждой душой (даже большевистской), вдруг хлынула в его уже уставшее от нелегкой

жизни и болезней сердце.

А когда благовест перешел в радостный, легкий перезвон и профессор услышал и соседние храмы – Николаевский и Успенский, когда глядящие с икон скорбные глаза как будто посветлели, желая, видимо, одобрить старого революционера, то Иван Платонович сделал то, чего никогда, никак не ожидал от себя: он перекрестился и поклонился святым образам. Более того, он снова и снова истово крестился: пальцы сами складывались в троеперстие, и рука сама поднималась ко лбу.

И тут он почувствовал, что в комнате он не один, что кто-то стоит за его спиной. Оглянувшись, Иван Платонович увидел Гольдмана, своего начальника и покровителя. Небольшое, коротконогое тело управляющего делами неслышно внесло в дверь огромную, дынькой голову, а затем вошло само. Старцев смутился и не знал, что сказать.

Гольдман заметил это и, видимо, решил пойти профессору навстречу.

– Знаете, я тоже стал бы молиться, если бы знал кому, – сказал он. – У Яхве нет лица, да и далек он от меня и непонятен. А к другому богу меня не приучали…

Гольдман выглядел грустно, хотя весть принес победную.

– Хотите последние новости? Конница Буденного прорвала польский фронт, заняла Житомир и Белую Церковь, – сказал он. – Киев снова наш, и это тоже хорошо… даже очень… Но вот Врангеля мы, кажется, не удержим. Все силы броше-

ны на польский фронт, и в Таврии – одна Тринадцатая армия. К тому же у нас под боком зашевелился Махно. К счастью, пока не знает, что предпринять.

Старцев все еще никак не мог прийти в себя. Ай-яй-яй, – старый большевик, как же это ты? Но Гольдман своим спокойствием и явным доброжелательством постепенно рассеял конфуз.

Когда к Старцеву явилась ясность восприятия, первой его мыслью было: Гольдман явно пришел с еще одной, не менее важной для них обоих вестью, чем сводка последних событий. И он не ошибся.

– Поговорим уединенно, – сказал Гольдман.

Они уселись в угловой комнате, «спецхранилище», где были собраны раритеты, за малахитовым столиком, украшенным статуэткой, сделанной в молодые годы Павлом Антокольским для харьковского сахарозаводчика и мецената Грищенко. Полуобнаженная вакханка прислушивалась к совершенно конфиденциальной беседе чекиста с профессором-археологом. Строго говоря, Гольдман чекистом тоже не был, он лишь недавно расстался с десятком торговых профессий, которые кормили его. Но об этих деталях своей биографии управляющий делами при новом начальнике тыла Юго-Западного фронта Дзержинском распространяться не любил. Тем более что Дзержинский и без откровений Гольдмана хорошо знал всю подноготную его небезгрешной жизни.

В элите ЧК Гольдман был пришлым человеком, его всего лишь полтора года назад «привел за ручку» сам Дзержинский. Исаак Абрамович промышлял тогда всякими торговыми делами, чтобы прокормить семью, и попался как спекулянт. По счастливой случайности его не шлепнули сразу, а завели дело, и оно каким-то невероятным образом попало на глаза Дзержинскому. И вот тут-то выяснилось, что Исаак Абрамович – двоюродный брат красавицы Лии Гольдман, в которую был когда-то влюблен революционно настроенный юноша.

Все произошло как в сентиментальном романе. Лия, дочь торговца, влюбилась в польского шляхтича-революционера, а он влюбился в красавицу Лию. Это была пылкая страсть, которой не могли помешать родители Лии. Но пока Астроном (одна из кличек Дзержинского) мотался по ссылкам и тюрьмам, его самая яркая звездочка угасала от туберкулеза в санатории под Варшавой.

Дзержинский вернулся к своей любимой, когда ей оставалось жить всего несколько дней. Памяти о Лие Астроном остался верен на всю жизнь. Естественно, Исаака Абрамовича председатель ВЧК спас от расстрельной статьи. Более того, познакомившись с ним поближе, даже сыграв несколько партий в шахматы (причем Гольдман играл, не глядя на доску), Дзержинский пришел к выводу, что его несостоявшийся родственник – человек исключительной памяти и высоких деловых качеств. Как раз такой был нужен, чтобы вести за-

путанные дела в ЧК.

Уже очень скоро Гольдман понял, как много, несмотря на строгий контроль, примазалось к ЧК лихоимцев, авантюристов, взяточников, садистов и романтических дураков.

Хотя Исаак Абрамович не очень верил в близкую светлую зарю всего человечества, он старался по мере сил отыскивать честных и умных сотрудников, которым бы мог без страха доверять. Такой находкой был для него профессор Старцев.

В этот день Гольдман получил шифрограмму от начальника учетно-распределительного отдела ВЧК Альского. Он знал, что Альского прочат на должность наркома финансов, и поэтому к сообщению отнесся с особым вниманием.

Перебрав в памяти всех сотрудников управления делами ЧК, Гольдман пришел к выводу, что поручение Альского может выполнить только Старцев.

Гольдман положил на малахитовую поверхность стола полученную шифрограмму, подвинул ее к Старцеву.

– Это мне? – спросил Старцев.

– Это – нам.

Старцев склонился над шифрограммой.

«Настоящим предлагаю управляющему делами и заведующему учетно-распределительным отделом ВУЧК срочно организовать вывозку из районов возможных боевых действий всех реквизированных и иных ценностей, имея целью доставку в организуемый при СНК Гохран (Государственное хранилище ценностей). Для чего предписываю создать по-

езд со специалистами и с надежной охраной. Начучраспред Альский».

Старцев покачал головой.

– Вот и я тоже только смог покачать головой, – согласился Гольдман. – Во-первых, что такое возможные боевые действия и где их районы? Мы не знаем, где будет через несколько дней Врангель. Кроме того, у нас здесь повсюду банды: и Васька-Полтавчанин, и Дьявол, и Маруся, и Золотой Зуб и еще десяток других. Они могут нападать и грабить где угодно. Это ли не районы боевых действий! Я уж не говорю о многотысячной армии батьки Махно. Вы знаете, что группы Махно шарят не только под самым Харьковом, но и в городе?

Иван Платонович только вздохнул, не понимая, чем может помочь Гольдману, а заодно всем войскам тыла во главе с председателем ВЧК товарищем Дзержинским. Банды казались неизбежностью, как грибы после дождя. Приезжал отряд с продразверсткой – и тут же из сопротивляющихся крестьян образовывалась банда. Поставки хлеба не выполнялись – количество продотрядов увеличивалось. Соответственно росло и число банд. Кажется, на селе уже не должно было оставаться крестьян – одни пошли в бойцы ЧОНа и отбирали хлеб, другие шли в бандиты и хлеба не давали. А кто же будет этот хлеб растить?

– Еще маленький вопрос: где найти паровоз, вагоны и две смены машинистов и кочегаров? – сказал Гольдман. – И на минуточку, где на маршрутах найти уголь? Все это из об-

ласти полетов на Луну. Ну, положим, поезд и вагоны я вам обеспечу. И все местные ЧК будут уведомлены и подготовлены…

– Постойте, постойте! Вы сказали «вам»!

– Ну да, вам. Потому что вы, конечно, не откажетесь поехать начальником экспедиции? С вами будут надежные люди, боевой, расторопный комендант и начхоз, чтобы снять с вас мелкие заботы. Я думаю, это будет Михаленко. Как вам нравится такая идея?

Иван Платонович понял, что Гольдман все равно будет его уговаривать и, возможно, уговорит на эту авантюрную поездку. Пытаться отказываться – потерянное время.

– Так куда же все-таки надлежит ехать этим надежным людям, или экспедиции? – слегка насмешливо спросил Старцев. – Поскольку районы боевых действий у нас тут повсюду.

– За кого вы меня держите, профессор! – воскликнул Гольдман. – Это я уже продумал. Таких пунктов десять, может быть, чуть больше. Все остальное – мелочь, там уже все разграблено и вычищено… Максимально полезный маршрут такой: Изюм, Славянск, далее через Ясиноватую, Юзово, Мариуполь, Бердянск… – Он немного замялся и затем продолжил: – Возможно, прежде всего надо – в Бердянск, потому что Врангель уже на подходе… затем… На карте мы еще уточним. Места экзотические, не пожалеете…

Он наклонил голову и по-птичьи посмотрел на профессора, со скрытой, впрочем, усмешкой. Мол, как ты, Паганель,

ученый человек, согласен?

– Но почему все-таки я? – задал наконец самый естественный вопрос Старцев.

– Потому что вы, Иван Платонович, голова, вы разбираетесь в тонкостях всего этого золотого хлама, знаете, что сколько стоит. Даже я, торговый человек… в прошлом, разумеется… даже я не могу понять, почему одна какая-то фитюлька ничего не стоит, а другая, почти такая же, стоит столько, сколько наш харьковский банк со всеми его потрохами. К тому же вы самый порядочный человек из всех, известных в ЧК, вы не исчезнете на пространствах Новороссии со своим замечательным грузом, пользуясь общей нашей неразберихой, не окажетесь где-нибудь в Стамбуле или, упаси боже, в Париже, где конечно же вас может ожидать самое расчудесное житье. «Мулен руж», а? «Максим»?.. Нет, вы предпочтете наш замызганный, пыльный, истерзанный Харьков с пайковым хлебом и пшенной кашей. Разве не так?

– Я должен подумать, – сказал Иван Платонович.

– Конечно! Думайте, – согласился Гольдман. Он посмотрел на высокие, сверкающие хрустальными гранями стекол, кабинетные часы фирмы «Юнгенсен» в дальнем углу. – У вас целых четырнадцать минут.

И Старцев, опершись на руку, действительно принялся думать. Думал не о путешествии, а о том, каким одиноким оказался он после нескольких лет Гражданской войны: нет рядом ни одного близкого человека, с которым действитель-

но можно было бы посоветоваться.

Иван Платонович подумал и о другом. О том, что в пути, встречаясь со многими людьми, он, пусть с малой вероятностью, сможет узнать что-нибудь о Наташе, Юре или Кольцове. И поэтому размышлял не больше отведенных минут.

– Я согласен, – сказал он.

– Вот и хорошо, – улыбнулся Гольдман. – Кого бы я еще нашел, кроме вас, для такой поездки?

– Послушайте, а вас не смущает, что я совершенно не похож на настоящего чекиста? – спросил Старцев.

– А вас во мне не смущает то же самое обстоятельство? – спросил в свою очередь Гольдман.

Они рассмеялись. На прощанье выпили «мерефского» чайку…

На следующий день Иван Платонович упаковал свои нехитрые пожитки в вещмешок или, по-народному, в сидор. Помимо пары белья он взял с собой посуду, котелок, бритву, ну и, конечно, лупу, тетрадь для записей, пару химических карандашей (необыкновенную ценность, оставшуюся с дореволюционных времен), карандаш специальный, магниевый, аптекарские весы, измерительный циркуль и подробную карту. Впрочем, местность, куда они направлялись, он знал достаточно хорошо и без карты.

Настроение у него было приподнятое: казалось, вернулись времена университетской жизни с ее непременными летни-

ми экспедициями. И только одно беспокоило Ивана Платоновича: а вдруг отыщется кто-либо из близких, явится на квартиру и найдет закрытую дверь? Было, было у него предчувствие, что кто-то непременно должен отыскаться. И в знак того, что он не пропал, что он ищет своих, Старцев повесил в центре Харькова, на той единственной афишной тумбе, которой пользовался в дни подполья, среди многих прочих объявлений одно, хорошо знакомое дорогим ему людям, – о том, что некто И. П. Старцев, именно Старцев, а не Платонов (его подпольный псевдоним), проживающий на Николаевской улице, покупает старинные русские монеты, а также занимается обменом.

Свою молодую соседку Лену он предупредил, что если кто-то будет его спрашивать, то следует сказать, что он уехал ненадолго по хозяйственным делам. Пусть ждут – и дождутся. Разумеется, Старцев ничего не мог сказать Лене ни об истинных целях поездки, ни о сроках.

В назначенный час Иван Платонович ожидал своих товарищей по экспедиции, сидя в привокзальном скверике, как раз напротив того места, где еще недавно стояла затейливо сложенная из миниатюрного кирпича часовенка в честь мученической кончины императора Александра II.

Часовню снесли еще в доденикинскую пору советской власти, но сделали это кое-как, и теперь в полуразрушенном углу, натянув сверху кусок рваного брезента, ютились бес-

призорные, которых то и дело прогоняли с вокзала.

Было очень рано, но июньское солнце стремительно выкатилось из-за лип, уже начинающих цвести, и принялось накалять землю. Ветер гонял на путях тополиный пух. Его несло сюда с длинной, густо засаженной тополями Александровской, а ныне имени большевика Скорохода, улицы.

Иван Платонович даже растерялся, когда к нему подлетел, словно выскочил из засады, юркий матросик и немного развязно, вихляво козырнул:

– Товарищ Старцев? Прибыл в ваше, как говорится, распоряжение. Буду начальником охраны спецпоезда. В миру – гальванер… бывший, как говорится. Фамилия – Бушкин! – Фамилию он произнес так, будто из главного калибра выстрелил, после чего заговорщически прошептал: – Поезд, между прочим, уже подан. Так что – прошу!

Вдали, в каком-то заросшем пыльной зеленью тупичке, сиротливо стояли два товарных вагона, к которым как раз подкатывал задом, намереваясь подцепиться, старенький маневровый паровоз знаменитой серии «ОВ» – «овечка».

– Это и есть… как это вы изволили выразиться, наш поезд? – спросил Старцев.

– Именно. В точку: наш поезд, – ответил бывший гальванер.

– Больно невзрачен паровоз.

– Вот тут вы, профессор, неправы, – возразил Бушкин. – Вы не глядите, что мал. Мал, да угля не жрет и едет хоть на

кизяке, хоть на соломе. Экспрессом потащит вагончики. И скорость я вам гарантирую…

Только сейчас Иван Платонович обратил внимание, что Бушкин одет не по погоде – в плотную кожаную куртку. На рукаве поблескивал металлический щиток с надписью «Бронепоезд Председателя РВСР». И стало понятно, почему Бушкин не снимает кожанки. Этот щиток был более редкой наградой, чем боевой орден. Остался у матросика с той поры, как служил в охране знаменитого личного бронепоезда самого Троцкого. Наверное, выперли его за что-то. Из охраны Троцкого по своей воле не уходят: почетнейшее занятие. «Ладно, нам еще если не полпуда, то полфунта соли предстоит съесть вместе. Еще узнаю, что собой представляет этот бойкий паренек», – подумал Старцев.

Маузер в деревянной кобуре бил по коленям матросика, на что тот никак не реагировал, как будто колени были из железа.

Внутри теплушки профессора встретил Иван Макарович Михаленко, завхоз экспедиции. Хозяйственный казак, он уже успел смастерить дощатые нары в два этажа, соорудил отсек для параши, а вместо сейфов, которых под рукой не оказалось, стояли один на другом несколько снарядных ящиков, к которым умельцы приспособили хитроумные внутренние замки. И уж вовсе странно выглядели посреди вагона старый ломберный столик и штук пять-шесть венских стульев, явно реквизированных из какой-то брошенной кварти-

ры.

– Так что, товарищ профессор, все у нас есть! – доложил Михаленко. – И даже телефон на паровоз проведен.

Бушкин, глядя на эту церемонию встречи руководителя экспедиции с комендантом, только фыркнул. В мгновение ока спустился вниз, выстроил на насыпи вдоль теплушки свою команду: шестерых разношерстно одетых красноармейцев с ручным пулеметом и винтовками. Сунул голову в теплушку.

– Докладываю! – козырнул он Старцеву. – Боевой экипаж охраны экспедиции готов выполнить любое задание. Только скажите, товарищ профессор, что нужно – из-под земли достанем!

– Хорошо, – кивнул Старцев. И улыбнулся: – Из-под земли я привык доставать. Это по мне.

– Именно в точку, – ответил Бушкин, хотя смысла сказанного археологом явно не понял…

Мирно и неспешно они тронулись в путь, причем Бушкин отгонял хлынувших к поезду и еще некоторое время бежавших вслед мешочников, показывая им ствол «льюиса».

– Назад, гидра! – кричал он в открытую дверь теплушки.

При выезде на главный путь их остановили. Машинист дал контрпар при виде упавшего вниз крыла на сигнальной мачте семафора. Спрыгнув с железной навесной подножки, Старцев увидел подбегающего к ним Гольдмана. Как всегда, огромная лысая голова Исаака Абрамовича влекла за собой

короткое, но крепкое тело, едва поспевающее исполнять повеления головы. Ноги Гольдмана скользили по щебенке, лицо было красным.

– Стойте! – сказал он, едва переводя дыхание. – Это я к тому, что еду с вами. Отпросился. На Харькове-Товарном подхватим вагончик с двумя бочками керосина и еще кое-какими товарами. Иначе будем голодными и без топлива. Все-таки я когда-то был хорошим специалистом по обмену.

Старцев помог Гольдману влезть в теплушку. Теперь путешествие ему не казалось таким трудным и опасным. Для Гольдмана проблем не существовало. Вот и сейчас, словно повинуясь его желаниям, лязгнули и прозвенели проволочные тяги, идущие вдоль путей. Крыло семафора полезло вверх, открывая их маленькому эшелону дорогу в «районы возможных боевых действий»…

Глава пятая

«Игра сделана, ставок больше нет!» – так сказал однажды сам себе граф Юзеф Красовский, он же барон Гекулеску, и если все же, несмотря ни на что, поверить ему, – русский дворянин Юрий Александрович Миронов, стоя в Севастополе на пустыре, неподалеку от пристаней РОПиТа. Поезд со слащевским салон-вагоном ушел, те, кто заставили графа вскрывать в вагоне сейф, растворились, бросили его на произвол судьбы, и надо было самому, ни на кого не рассчитывая, выбираться из этого капкана.

Прикинув, что новая встреча с полковником Татищевым и вовсе не сулит ему ничего хорошего, он решил любым возможным способом бежать из Севастополя. Хотел было отправиться в Турцию, но в последний момент понял, что в порту станет легкой добычей контрразведчиков, тем более сейчас, когда, после нападения на слащевский поезд, контрразведка будет шерстить не только город, но и его окрестности. Оказавшись в руках Татищева, он будет вынужден вновь исполнять ту малопочтенную роль, которую ему отвели, – роль провокатора. Он же, играющий во все существующие в мире игры, отказывался только от той, что называлась политикой. С легкой руки полковника Татищева он уже увяз в ней, и эта игра сулила ему неприятности куда большие, чем покер с мечеными картами.

Итак, в Турцию отправиться он не мог по вполне объективным причинам, к партизанам не хотелось из-за отсутствия у них элементарного комфорта, от которого он не успел отвыкнуть даже за все эти сумасшедшие годы. Податься к красным? Там нищета. Да и ЧК действует не менее стремительно, чем врангелевская контрразведка, и разбирается со своими клиентами еще проще.

В те дни Миронов узнал о замечательном городе Махнограде – оплоте свободы и независимости. Рассказали, что, когда батько Махно в походах, город живет вольной жизнью. Деньги и иное всякое богатство сыплется у жителей через край. А вот развлечений, как выяснилось, нет никаких. Принимают туда любого, кто хочет стать анархистом.

Миронов не хотел становиться анархистом, но не прочь был погреть руки возле чужого богатства.

На шумном Севастопольском базаре Миронов по сходной цене купил у старьевщика редкой, ручной работы рулетку, и это была единственная его ценность, с которой он приехал из Севастополя на Азовский берег, в маленькое рыбацкое село Семь Колодезей, славящееся не только рыбаками, но и лихими контрабандистами.

Контрабандисты доставили Миронова на Обиточную косу, едва не утопив его за то, что обыграл их как малых детей в кости даже на шатающихся банках маленького суденышка. Но помиловали за простоту нрава и щедрость: расплачиваясь, Миронов вернул им почти все выигранные деньги.

Так что дорога обошлась ему бесплатно, и еще кое-что осталось, чтобы нанять одноконную бедарку и на ней добраться до Бердянска.

Бердянск был занят красными, но отыскать в городе махновца было так же просто, как храм святого Николая-угодника. Все села и городки до самого Гуляйполя были под негласной властью махновцев, которые по торгово-обменным делам приезжали сюда совершенно открыто. Помогло ли Миронову обаяние, умение играть или солидный французский паспорт, но вскоре он оказался в Махнограде. Так то ли в шутку, то ли всерьез с недавних пор стали называть столицу вольного края батьки Махно – село Гуляйполе.

Даже летом двадцатого года, когда Гражданская война бушевала уже третий год, находясь между сражающимися сторонами (немцами, австрийцами, гетманцами, гайдамаками, анархистами, деникинцами, слащевцами, красными казаками, воинами-интернационалистами в лице венгров, сербов, латышей, эстонцев, китайцев, корейцев), город-село Гуляйполе переживал бурные и даже в чем-то веселые дни.

Сейчас шли жестокие бои между Тринадцатой армией и корпусом Кутепова, причем белые могли занять махновскую столицу со дня на день. Севернее располагались красные резервы, которые тоже без труда могли войти в Гуляйполе. Внутри села господствовали махновцы, но самого батьки не было, и, по слухам, он находился то ли на Полтавщине, то ли на Харьковщине, то ли и вовсе на Дону, где громил крас-

ные обозы, склады и тыловые части, щедро снабжая любимое крестьянство мануфактурой, сахаром, спиртом, керосином, лампами с фитилями и, конечно, оружием.

Зная об отсутствии в Гуляйполе батьки, большевики не торопились занимать коварное село, так как главной их целью все же была поимка главаря или на крайний случай его уничтожение как опаснейшего своего врага.

Не по той ли причине в отсутствие Махно не спешили в Гуляйполе и белые? Хотя отомстить батьке за убийство многих тысяч пленных офицеров желал бы каждый ротмистр, каждый поручик.

Вот когда наступило в Гуляйполе время полной и настоящей свободы: ни хозяина, ни работы, ни заданий! А между тем многие дворы ломились от добра, которое не сегодня завтра могли отобрать не то белые, не то красные. Чего ж не гулять! И хотя за последние годы здесь было выбито в боях и расстреляно больше половины мужского населения, на всех улицах гуляли свадьбы, справляли тещины именины – словом, наслаждались жизнью.

Махноградские свадьбы гулялись широко и щедро, по неделе и более, иной раз от похода до похода. Вольные анархисты, участники «черной сотни», батькины первопроходцы, все как на подбор были парнями видными, церковных браков не признавали, женились многократно.

Батько и сам был женат уже в четвертый раз. Может, он успел бы вступить в священный союз и еще разок-другой

– девчата крутились возле маленького, неказистого батьки, как пчелы возле улья, – но последняя его жена, Галя Кузьменко, попалась принципиальная, с характером. К тому же учительница, грамотная и, главное, анархистка с твердыми убеждениями. Махно ее даже побаивался: она была единственным не только в Махнограде, но и во всей Украине человеком, который без всякой опаски выдерживал батькин взгляд. А если было нужно, то могла и тумака батьке дать по потылице или по чему придется. Под стать ей была и Феня, гражданская жена Левы Задова. Обе скакали верхом не хуже казаков, на ходу стреляли из карабинов, могли и шашкой рубануть как положено, с оттягом, что и доказали, порубав красноармейцев, которые расстреляли Галкиного отца. Любила махновская жинка своего папашу, хоть тот и был по старой своей профессии жандарм.

Гуляйполе и до революции было селом отменным, можно даже сказать, больше городом, чем селом, хоть и одноэтажным. Проживало в нем более шестнадцати тысяч жителей. Над камышовыми, соломенными, черепичными и железными крышами возвышались купола трех православных церквей, не говоря уж об обязательной синагоге и немецком методистском храме. Десять школ начинали свои занятия в семь утра. Русские земские, церковно-приходские, фабричные, две еврейские и одна немецкая библиотеки были в Гуляйполе такие, что если бы каждый житель, включая младенцев взял себе по две книги сразу, то и тогда их хватило

бы на всех. На восьмидесяти предприятиях в хорошее время работало больше тысячи человек, не порывавших тем не менее со своим подворьем, с коровами, гусями и курами, а на ежегодные ярмарки сюда съезжалось тысяч эдак под сто. Местные заводы Кригера и Кернера выставляли на ярмарках такие сеялки, жатки, молотилки, что за ними приезжали даже из Румынии и Болгарии, чтобы купить дешевле: все-таки ярмарка.

Был здесь свой драмтеатр и синематограф, которые, разумеется, просвещали и развлекали людей как могли.

Если чего и не хватало в Гуляйполе, как считали местные жители, потомки запорожцев и притесняемые бюрократией еврейские элементы, так это свободы. Воли. Трудиться приходилось много и тяжело, а платили хозяева, сами находившиеся в тисках конкуренции, негусто. Нестор Иванович понял это, как только пошел работать на завод Кернера подручным столяра. Тогда же получил он и второе образование: попал в заводской театральный кружок, который, по сути, являлся кружком анархизма, где верховодил длинноволосый загадочный человек общеевропейского происхождения Вольдемар Антони.

(Пройдут годы, и Нестор Махно, еще не батько, но уже как бы местный авторитет, воспользовавшись свободой, объявленной Керенским, выгонит господина Кернера с завода, а само предприятие объявит всенародной собственностью, после чего, правда, производство жнеек и лобогреек прекра-

тится. Вот уж не думал господин Кернер, глядя в заводском театре детский спектакль о Сером Волке, где Нестор Иванович по причине малого роста и тонкого голоса с успехом исполнял роль Красной Шапочки, что эта Шапочка выгонит его с любимого завода буквально пинком под зад. Что поделаешь – столица анархизма. Господин Кернер плохо это понимал.)

Нет, не так сухо и скупо рассказывали Миронову махновцы о своей столице, пока везли его «до батьки». Впрочем, и то, что он увидел своими глазами, поразило его воображение. Повсюду, даже на глухих окраинных улочках, на хатках под соломой и камышом, красовались аршинные вывески ресторанов, куаферен, банков, кофеен, магазинов, бань, гостиниц и даже заведений, предлагающих интимные услуги и райское наслаждение.

Миронов понял, что Махноград пытается конкурировать с Парижем, но это у него пока еще плохо получается. То есть различных заведений в пересчете на душу населения здесь уже было даже больше, чем в Париже. Но наблюдались и серьезные недостатки, мешающие обогнать Париж. Скажем, в городе, да не просто в городе, а в столице свободной анархической республики, не было ни одного игорного дома.

Этот пробел и помог ликвидировать городу Миронов. На одной из ближних к базару улочек, на фронтоне солидного кирпичного дома, появилась большая красивая вывеска – «Парадиз. Казино». И ниже, буквами помельче: «Заходи

любой, кто хочет стать миллионером».

Однажды, после очередной своей победы где-то на Херсонщине или Николаевщине, Нестор Иванович во главе своей армии вступал в столицу. Гремели оркестры, на дворах всех многочисленных школ пели хоры, звучали здравицы, и даже собравшиеся у деревянной крашеной синагоги престарелые благочестивые хасиды, поглаживая пейсы, кричали: «Хай жывэ!» и «Слава батькови!»

Женщины плакали и смеялись, встречая своих мужей или любимых, которые без трофеев домой не являлись. У кого добыча помещалась в седельных сумках, а у кого и на отдельном возу, да еще запряженном добрыми коняками, выращенными где-нибудь в немецкой колонии и еще не привыкшими к русско-украинским забористым матюкам и злому кнуту.

Так случилось, что ехали они именно по той улице, где красовалась вывеска «Парадиз. Казино». Заметив ее, Махно сказал ездовому:

– А ну подверни! Поглядим, як жиды у хохлов гроши выдуривают!..

Не так давно раненного батьку сняли с тачанки, занесли в горницу, посадили в кресло перед стоящей на столе, как жертвенник, рулеткой. Рулетка была обновлена и разукрашена, переливалась всеми цветами радуги и ослепительно блестела лаком.

Миронов выступил вперед, сделал изящный поклон:

– Позвольте представиться. Миронов. Бывший граф, отказавшийся от аристократического прошлого в пользу пролетариата. Зарабатываю на жизнь трудом.

– Трудом? – спросил Махно, вонзая в Миронова свой самый беспощадный взгляд, перед которым даже боевые деникинские полковники ежились, как перед смертным ударом. – А мне сдается, я тебя в бою под Александровском в прошлом годе трошки не дорубал. Хиба то не ты был? У беляков. В золотых погонах. А теперь, значит, до пролетариев примазываешься?

– Белым никогда не служил.

– Значит, красным… Под Мелитополем. Весной… У меня добрая память на лица, – сощурившись, продолжал Махно.

– И красным не служил. К тому же я – французский гражданин.

– И сам запутался. То ты – граф, то пролетарий, а то и вовсе француз. А ну покажь документ!

Миронов паспорт всегда держал при себе. Он знал, в этой стране его надо предъявлять как можно быстрее, пока не успели вынуть пистолет и не взвели курок. Махно внимательно изучил паспорт.

– Ты не тушуйся! То я так шуткую, – осклабился он и кивнул на рулетку. – А это, значит, орудие твоей коммерции?!

– Это – так, для душевного времяпрепровождения… На-

зовите, к примеру, цифру – от одного до тридцати шести. И поставьте на кон деньги, сколько хотите. Условно, конечно.

– Ну почему ж условно? Можем и натурально. – Махно обернулся, поискал кого-то глазами, увидел стоящего сзади своего контрразведчика Леву Задова. – А ну пошукай, Левка, в карманах какую-сь мелочь.

Лева протянул ему царский червонец.

– Вот, пожалуйста.

– А цифра?

– Ну нехай будет тринадцать.

Миронов крутанул рулетку. Забегал по круглому замкнутому пространству шарик и…

Миронов, конечно, навсегда сохранил тайну, как он этого добился, но шарик, все замедляя свой бег, свалился не в другую лунку, а именно в ту, в которую и было нужно, – под цифрой тринадцать.

– А вы везучий, Нестор Иванович! – восхитился Миронов, протягивая Махно золотой и присоединяя к нему еще один. – Может, попытаетесь еще разок?

– Хватит, а то весь твой капитал выиграю, – отказался Махно. – Ну бывай! Хлопцев моих не очень забижай.

– Тут уж у кого какое счастье, – развел руками Миронов.

– Они – ничего. Они – нормальна людына. Заслуженным бойцам скидки делают, – похвалил Миронова кто-то из тех, кто не участвовал в походе и оставался в городе на хозяйстве. – И еще какую-то башню продают. Ну ту, шо в Пари-

же где-то покаместь стоит. Хлопцы тут думают, может, скинуться та купить. На выгоне бы поставили.

– Какая башня? – заинтересовался Лева. Батьку уже вынесли, а он из любопытства еще задержался.

– И в «железку» мастер. И в карты, – одобрительно высказались еще несколько хлопцев.

– Позвольте объяснить, – быстро прервал махновцев Миронов. – Как вы, наверно, знаете, Эйфелева башня не только предмет гордости парижан, но также и радиостанция, волны которой достигают даже наших мест.

– Чув. Ну и что французы? Продают ее? – удивился Задов.

– А что им остается делать! Ввиду близости реки Сены болты и заклепки, которыми скреплены части этого железного сооружения, проржавели и быстро приходят в негодность. Еще год-два – и, как считают ученые, она рухнет. Французы, как люди практичные, решили ее разобрать по частям, продать, чтобы на вырученные деньги соорудить новую, поменьше. Я вошел в акционерное общество по продаже этой башни, Так как господин Анри Мориэль – мэр Парижа, является моим дядей. Кстати, фамилия Мориэль, если на наш с французского перевести, в аккурат и будет Миронов.

– Складно брешешь! – усмехнулся Задов.

– Все серьезно продумано. Из этих же денег оплачивается баржа – это копейки, – и через Средиземное, Черное и Азовское моря сюда, до Бердянска. Нестор Иванович столько раз брал Бердянск, что возьмет и еще раз, дня на два. Пока раз-

грузимся. А новые заклепки достать – вообще плевое дело. И этот вопрос у меня уже продуман…

Леве надоело слушать болтовню Миронова, он наклонился к самому его уху и тихо, чтоб никто из махновцев не слышал, сказал:

– Что ты жулик – и без свечки видно. Но хлопцы на тебя, видишь, не обижаются. Даже поддерживают. Давай продолжай дурить им головы. Меньше будут пиячить и фулиганить.

И, оставив растерянного Миронова, он покинул казино.

– Умный у вас начальник! Слыхали, что сказал? – тут же, с ходу, нашелся Миронов. – Хорошее, говорит, дело. С такой башни можно будет вести радиотрансляцию анархических идей на весь мир…

Оставшиеся в казино махновцы одобрительно загудели.

Так Миронов на какое-то время обосновался в вольном городе Махнограде, успешно торгуя Эйфелевой башней и как липку обдирая жителей анархической столицы.

Глава шестая

Наконец-то, наконец-то старенький «Кирасон» добрался до Босфора, и поздним вечером высыпавшие на палубу пассажиры увидели проблески маяков у фортов Румели-Фенер и Анадолу-Фенер, поставленных по обе стороны входа в пролив и сторожащих его, как верные псы.

Едва ли не две недели вместо двух дней находились они в плавании. Неподалеку от берегов Турции им вновь пришлось ложиться в дрейф, гасить топки и ремонтировать машину. Трюмная команда, чуть не спекшаяся, чумазая от сажи, потребовала срочной доплаты, всяких аварийных, сверхурочных и еще каких-то. Снова помощник ходил с фуражечкой по первому и второму классам, собирал дополнительные пожертвования. Похоже, их решили превратить в нищих еще до прибытия в Турцию. На них смотрели как на богачей, увозящих с родины несметные сокровища.

Глухо ворча уставшей паровой машиной, «Кирасон» забирал левее, чтобы войти в фарватер. Ночь была очень теплой, пахло водорослями, и фосфоресцирующим блеском светилось море, рассекаемое носом парохода. От близкого каменистого и плоского турецкого берега, казалось, исходил жар, как от протопленной днем и постепенно остывающей печи.

Но Таня зябла. До нее наконец со всей определенностью дошла одна простая мысль: родных берегов больше не будет.

Никогда. Ей было страшно. Даже в тревожные часы, когда их несло в дрейфе к советским берегам, она не испытывала чувства страха.

«Нет, это не со мной происходит, – думала Таня. – Это просто снится. Турецкий берег, ночь, Босфор, светящаяся вода… Вот так было, когда умерла мама. Я внушала себе: это просто кошмарный сон. Ничего больше. Мама еще появится. Надо только проснуться. Не может быть такого, чтобы она больше не появилась никогда…»

Никогда!.. Жамэ!..

Это словечко крутилось у нее сейчас в голове. По-русски оно звучит твердо, категорично и грустно: «никогда». А вот по-французски весело, легко, словно мотив полечки.

«Никогда уже не увижу его… Почему так горько? Передо мною открывается вся Европа, путешествия, приключения, а у меня на душе лишь горечь…»

Милый Микки Уваров, провожая, целовал ей руку, долго, не отрывая губ, а потом произнес:

– Уверен, это расставание лишь на короткое время. На очень короткое время.

Это звучало многозначительно.

Уваровы еще до Великой войны перевели в Англию свои основные капиталы. Они англоманы. Они не уставали повторять: «Все может рухнуть, не рухнет только Англия».

Выходит, они были правы, а мы, патриоты, любящие свою несчастную Россию, дураки?.. Может быть. Но богатенький,

красивый, вежливый Микки и его уверенность в скорой встрече как-то не утешали. Наверное, она – однолюбка. Как мама, как тетки. Может быть, тогда, в Харькове, надо было быть более смелой, первой пойти ему навстречу? Может быть, если бы у них случилось то, что всегда случается между любящими, если бы их соединила ночь, постель – он переменился бы? Может быть, бросил бы своих и перешел к ней, к отцу? Или похитил бы ее, увез за линию боев, к красным? Но она была робкой, как и положено воспитаннице Института благородных девиц. Ждала от него решительного шага. Она бы на все пошла, но нужен был его решительный шаг.

«Боже мой, – опомнилась Таня, – о чем я думаю? Я уже в Турции. Надо жить!»

Машина под дощатой, скрипящей и потрескивающей палубой старого «Кирасона» вздыхала все глуше. Пароход словно бы течением втягивало в Босфор, как втягивает щепку весенний ручей.

Но Николай Григорьевич, оставив дочь на попечение знакомых, не любовался новыми берегами. Он отыскал корабельного электрика Бронислава Шешуню, осведомителя севастопольской морской и сухопутной контрразведки, и заперся с ним в его каюте.

Еще в начале крымской эпопеи, когда Слащев отстаивал перешейки, Шешуня попался на передаче тайных сведений красным: он был тогда электриком на вспомогательном крейсере «Алмаз», или «шмаге», как называли настоящие

военные моряки вооруженные коммерческие суда. Шешуню соблазнило приличное вознаграждение: красные, получив в свое владение всю Россию с ее богатствами, не скупились, соблазняя нужных людей.

Шешуню должны были расстрелять или повесить – на усмотрение скорого военного суда. Но Щукин перехватил его, сохранил жизнь и, заставив подписать необходимые бумаги, сделал своим личным осведомителем. И не прогадал. Немало ценных сведений он получил потом от Шешуни.

Чтобы и сейчас их встреча не вызывала подозрений, Шешуня взялся ремонтировать карманный фонарик Щукина, изящную вещь французской работы с ручным приводом маленького генератора. При этом они обменивались фразами, не предназначенными для посторонних.

– Куда же капитан вкладывает деньги? – спросил Щукин.

– Он, как учат умные французы, не кладет яйца в одну корзинку. Часть откладывает в банкирский дом «Федотов и Кє». Говорят, надежно. А частью ссужает капитанов «грузовиков», которые берут курс на Севастополь, но кое-что из «товара» потихоньку оттаскивают в красную Одессу.

– Какие товары?

– Чаще всего это медикаменты, больничное оборудование. Но случается, и военный груз: снаряды, патроны, пулеметы.

– Откуда?

– Покупают тайком у англичан, французов, особенно у

итальянцев. Красные ценят русские боеприпасы, их в достатке осталось в Румынии. И все это теперь числится за доблестными союзниками.

Через полчаса интенсивной беседы фонарик Щукина работал, жужжа передачей, в полную силу, а в блокноте полковника появились очень интересные записи, открывающие некоторые коммерческие тайны, которые, как он полагал, должны были ему пригодиться в самом скором времени.

Бескорыстные союзнички, Щукин знал это и ранее, не пренебрегают никакой прибылью. Именно поэтому, когда Врангель и адмирал Саблин предложили поставить у советских портов мины, препятствующие судоходству, французская и английская миссии были категорически против. Даже обиделись. «Как, неужели наши крейсера и дредноуты позволят красным вести морскую торговлю?»

Но союзнические «купцы» тайком ходили и в Одессу, и в Новороссийск, и в Николаев, и в Херсон. Товаром не брезговали. Продавали не только мирные грузы. Тем более красные платили хорошо, и не кредитом, основанным на продаже металлолома, как Врангель, а хлебом и даже золотом. Торговлю вели «Одесский союз кооперативов» и «Новороссийский профсоюз цементников» – организации, стоящие «вне политики», которым зачем-то нужны были снаряды к трехдюймовкам, запчасти к аэропланам, патроны.

Ну ладно, помешать этому Щукин уже не мог. Да и Врангель не мог: свои финансовые интересы союзники умели от-

ставить. К союзникам не подступишься. А вот капитан «Кирасона», умевший «класть яйца в разные корзины», конечно же хорошо знал имена капитанов, которых ссужал деньгами под хорошие проценты. Дело было за малым: выспросить капитана и затем найти его должников.

Щукин усмехнулся. Любой человек может стать разговорчивым. Как это делается, он знал. Беда лишь в том, что у капитана здесь, в Стамбуле, целая шайка сообщников, включая этого наглого помощника, а Щукин один. Но на то у полковника почти двадцать лет службы в тайной полиции, чтобы найти решение подобной задачки.

Тут только спешить не надо. Впрочем, и медлить нельзя.

– Николай Григорьевич, у меня не будет неприятностей? – спросил электрик.

– Если у меня не будет, то и у тебя не будет, – успокоил его Щукин.

Полковник вышел на палубу. Увидел, что у кормы «Кирасона» крутится катер комендантской службы с ярким топовым фонарем на мачте. Было уже темно, и катер осветили прожектором с капитанского мостика. Николай Григорьевич увидел французский триколор. В рупор с катера прокричали:

– Эй, на «Керосине»! Возьми к створному знаку!..

Видимо, это был русский офицер на французской службе. Соотечественник не упустил случая поиздеваться над своими. Впрочем, действительно, не «Кирасон», а «Керосин».

Старая калоша, которая всех измучила голодом и качкой.

На палубу из кают выходили все новые пассажиры, а те, что ютились под бимсами шлюпок и у трубы, сбросили с себя шинели, пледы и куски брезента, задвигались, готовясь к высадке. Но пароход, почти приткнувшись к берегу, бросил якорь.

Огней Стамбула пока не было видно, даже зарева. Город спал за изворотом узкого залива, за цепью невысоких лысых холмов. До турецкой столицы оставалось еще не менее пятнадцати миль.

– До утра в Стамбул нас не пустят. Утром будет медицинский осмотр, и лишь потом… – спускаясь с мостика, пояснил капитан. Поблескивали его надраенные пуговицы. – Они не хотят, чтобы кто-нибудь ненароком пробрался в город. Боятся тифа, холеры. Мы – русские – для них рассадник заразы.

Щукин всмотрелся в полное, крепкое лицо немолодого уже капитана. «Иван Николаевич Иванов. Хорошее у тебя лицо, – подумал Щукин. – Теперь ты заодно с нами, русский патриот, и все уже готовы простить тебе бесконечные поборы там, в море… Ладно, проверим тебя, Иванов, на крепость нутра…»

Это была их первая ночь за рубежом, и Щукин запомнил ее наплывом многих неприятных мыслей. Таня ушла в каюту, прилегла на свою узкую койку, не раздеваясь и укрывшись с головой от долетавших с берега москитов. А Щукин, глядя на свалившиеся в затихшую воду звезды, думал о Бос-

форе, Дарданеллах. Веками рвалась сюда Россия, оттесняя султана. Эдакая полуденная мечта о Средиземноморье, которая сидела глубоко в кровеносной системе каждого русского, в том числе державника, сторонника могучей России Щукина.

Можно сказать, союзники, втягивая Россию в общеевропейскую бойню, соблазнили ее воплощением этой уже кажущейся неосуществимой мечты. «Вы – русских мужичков на фронт, а мы вам – Босфор с Дарданеллами…» Как же! Отдадут!

Еще в 1915 году мистер Черчилль принялся высаживать десант в Дарданеллах, чтобы опередить русских. Под предлогом помощи, конечно. Но безжизненный, созданный самой природой как крепость полуостров Галлиполи не дался могучему английскому флоту. Отступили.

И вот теперь они, русские, на Босфоре. Как беженцы. Как нищие, просящие убежища. Беспомощная, враждующая между собой человеческая толпа, которую можно окончательно обобрать.

Николай Григорьевич заснул на часок. Сквозь сон слышал, как гремели якорные цепи и пароход тихо куда-то двигался. А когда ранним утром проснулся, увидел над головой желтый карантинный флаг. Встав в виду еще серого, укутанного утренней мглой Стамбула, пароход принял на борт нескольких итальянских карабинеров в треугольных шляпах невиданной величины.

– «Аэропланы» прилетели, – сказал толпе капитан и пояснил: – Сегодня, видно, итальянцы командуют. Тут все по очереди – то итальянцы, то англичане, то французы. Хозяева положения!

За карабинерами на пароход полезли врач-турок и несколько негритянок и негров, черных людей для черной работы – мойщиков карантинной службы.

Едва Таня успела выйти на палубу, как ее тут же ухватила за плечо чрезвычайно плотная и округлая, подобная ядру в сарафане, негритянка. Таня в ужасе посмотрела на отца, ища защиты. Ее волокли куда-то, ничего не объясняя.

Бедная девочка, она не была готова к этой новой, подневольной, зависимой жизни. Щукин знал, что протестовать – это лишь напрашиваться на новые неприятности. Подойдя к итальянцу, который, судя по двум маленьким звездочкам на воротнике и на клапане рукава, был здесь старшим, он протянул ему десять лир и пояснил на французском, что просит отпустить его дочь.

Между тем негритянка тащила Таню в сторону холодного корабельного душа. За ними семенила вторая служительница чистоты, сгибаясь под тяжестью сумки, в которой звякали бутыли с карболкой, раствором хлора и еще какой-то жидкости.

Офицер кивнул, спрятал деньги за обшлаг мундира и, окликнув негритянок, жестом указал в сторону полубака, где уже толпилась дюжина «вымытых» пассажиров, из числа

тех, у кого были деньги и кто знал местные порядки. Николай Григорьевич и Таня, подхватив чемоданы, перешли на носовую часть верхней палубы. Остальным предстояло принять холодный душ с карболкой и хлоркой.

А совсем близко, у трапа, за спинами карабинеров шумела на все голоса пестрая толпа встречающих. Здесь были родственники, знакомые прибывших, обеспокоенные долгим отсутствием парохода, были и «вечные встречающие», потерявшие во время деникинского отступления своих близких и еще надеющиеся на чудо спасения. Но больше всего здесь было местных торговцев, турок и греков – менял, рекламных агентов, желающих тут же, на набережной, совершить выгодную сделку, используя неопытность новоприбывших русских.

– Меняю деньги по курсу себе в убыток!..

– Продаю очень хорошую лавку за бесценок…

– Девочки, девочки для господ офицеров…

– Дешевая гостиница, очень чисто, без таракана, без клопа…

Местные торгаши и агенты уже успели выучить нужные фразы на русском и произносили их почти без акцента. Правда, дальнейшие разговоры происходили на пальцах: главное было – завлечь!

Мелькали красные фески, густо-черные чарчафы, укрывающие лица женщин, белые повязки лимонаджи, за спинами которых сияли ярко начищенные кувшины с прохлади-

тельными напитками. Продавцы фруктов расталкивали всех своими переносными лотками:

– Сладки, как изю-ум!.. Сладки, как мио-од!

Все это кричало, стучало, ойкало, пело, сливалось с голосами муэдзинов на кружевных галерейках высоких и стройных белых минаретов. От этих гортанных выкриков, пряных запахов, музыки, разноцветья, суеты начинала кружиться и болеть голова.

Только раскованные американцы в рубашечках цвета хаки с короткими рукавами и пилотками, засунутыми под погоны; подтянутые, сухопарые, слегка надменные, как и положено хозяевам самой большой империи, англичане в пробковых шлемах; набриолиненные, веселые, все, как один, с фатоватыми усиками итальянцы; солдаты и офицеры колониальных войск – зуавы в своих синих куртках и жилетах, в белых чалмах, в красных шароварах и шелковых голубых поясах; сикхи в замысловатых тюрбанах, расшитых халатах, с кинжалами за широкими поясами; бородатые гуркхи, чугунолицые, с мечами немыслимой кривизны, ножны которых посверкивали полудрагоценными камнями и богатой резьбой, – словом, все те, что пришли сюда как победители, держали себя спокойно, немного отстраненно и взирали на суету со снисходительным интересом. У них было постоянное жалованье, казенное жилье, казенные обеды, у них было чувство собственного достоинства: то главное, что потеряли прибывшие сюда русские, которых сразу можно было отличить – не по

одежде, нет – по глазам. В них светилась тоска потерявшейся собаки.

И Николай Григорьевич, и Таня невольно ощутили это, едва сойдя на берег.

Щукин не без умысла взял дорогого, парного извозчика, и они с шиком прокатили небольшое расстояние от Галатской пристани до барского, с огромными, разделенными на клеточки, окнами особняка российского представителя на улице Пера – главной улице европейской части города.

Улица чем-то напоминала Николаю Григорьевичу Фундуклеевскую в Киеве или Арбат в Москве, только понеряшливее и поуже. Отдавая извозчику пятьдесят пиастров, половину турецкой лиры, Щукин с интересом заглянул в бумажник. Да, деньги здесь что русский снег – завезти можно хоть бочку, да все скоро растает.

Внешне особняк сохранил прежнее величие. У входа стояли двое кавассов – посольских швейцаров, одетых в сохранившиеся еще с царских времен ливреи, украшенные по-восточному богатым золотым шитьем от полы до воротника. Но все вокруг, даже маленький садик, гудело и пахло русским вокзалом. И внутри, в самом посольстве, тоже творилось черт знает что. Даже советские «коммуналки», слух о которых уже дошел до Стамбула, показались бы здесь верхом благоустроенности.

До того как барон Врангель стал хозяйской пятой на полуострове Крым и воссоздал пусть малую, но упорядочен-

ную Россию, был кошмар новороссийского бегства. Генерал Деникин, старавшийся сохранить демократическое устройство в пору варварского единоборства, не сумел справиться с Буденным, с тифом, с эвакуацией и допустил панику и разброд. Возжаждавшие независимости «парламентарии» Кубани ударили под бок казацким кинжалом. Потеряли боевой дух донцы.

Брошенный союзниками, которые навязывали ему соблюдение прав личности и гражданина, но при этом уважали лишь сильного, самый русский из генералов, плохо понимающий суть происходящего, Деникин отбыл в Европу, а на улицах Стамбула, на полу посольского особняка остались осколки бегства – репатрианты. То есть «лишенные родины».

Именно на этот самый холодный мраморный пол рухнул, распугивая беженцев, начальник деникинского штаба и ближайший друг Антона Ивановича – Ванечка Романовский, боевой генерал, убитый своими же офицерами за допущенное поражение и паническое бегство.

А сейчас в это дипломатическое убежище, в это общежитие прибыли Щукин с дочерью. Конечно, Николай Григорьевич мог позволить себе остановиться в гостинице. Но, во-первых, так было удобнее для осуществления его планов – никто в этой вокзальной сутолоке не станет следить, когда он исчезнет и когда появится; во-вторых, здесь, под присмотром соотечественников, можно было оставлять Таню. Стам-

бул – город не для одинокой европейской девушки.

Бывший кабинет посла – огромная зала, которая должна была производить впечатление на дипломатов Блистательной Порты, теперь была заставлена письменными столами военных чиновников. Это было единственное служебное помещение посольства – в остальных жили. Посольство-общежитие.

Щукина встретил генерал Лукомский, военный представитель Врангеля в Стамбуле при объединенной союзнической миссии. Александр Сергеевич был давно знаком с полковником, особенно близко с тех пор, как генерал стал начальником оперативного отдела в штабе Верховного в шестнадцатом.

Мундир сидел на Лукомском мешковато. Александр Сергеевич похудел, осунулся, некогда черневшие грачьими крылышками на его загорелом лице усы теперь пошли в серебро, равняясь цветом с клинообразной бородкой, щеки были впалы и бледны.

Расцеловались по-русски.

– Впервые вижу тебя без погон, Николай Григорьевич, – сказал генерал. – Теперь в партикулярном? Штафиркой стал?

Щукин улыбнулся. Он любил этот бравый гвардейский жаргон.

– Отпуск. Может, надолго. Здоровье подправить… м-м… Дочку в Париж отвезу…

Лукомский только вздохнул. Он знал о тяжелом поражении опытного контрразведчика, из-за которого тот вынужден был подать прошение об отставке. Посвящен был и в более тонкие личные нюансы.

– Чаю? – спросил генерал. – Кофе, извини, не предлагаю. Не хочу сотрудников запахом смущать. Да и дороговат для нас ныне кофе, даже здесь, в Турции.

Сели за маленьким ампирным столиком у окна. Отсюда был виден желтый от ила, отливающий под солнцем тусклым самородком Золотой Рог, а вдали открывалось Мраморное море, серо-зеленое у берегов, постепенно переходящее в голубизну и к горизонту сливающееся с небом.

– Одна радость в нашей беде, – сказал Лукомский. – Все мы стали семьей. Русские. Большевички научили. Видишь, как живем.

Щукин не стал спорить. Видел он, как русские обдирают русских. Не всех, видно, научили большевички. Ладно, это его боль и ему с этим разбираться.

Однорукий денщик в гимнастерке с вишневого цвета дроздовскими погонами принес на подносе серебряный чайничек (остатки прежней имперской роскоши) и два пузатых турецких стаканчика с дзуратом – нежнейшим и ароматным восточным лепестковым чаем.

Щукин бросил на солдата короткий, но профессиональный, запоминающий взгляд. Ручища у денщика была крепкая, жилистая, с въевшейся в ладонь угольной чернотой.

Поднос он держал двумя пальцами. На гимнастерке – ветеранский серебряный знак дроздовского стрелкового полка: в центре черного эмалированного креста алел щит с мечами, а под крестом – терновый венец.

Щукин знал этих дроздовских шахтеров еще по харьковским временам. Под Горловкой несколько десятков шахтеров, сущие дьяволы по виду, влились в Добровольческую армию и воевали люто в роте Женьки Петерса[3]. Звали их «белыми латышами» – за стойкость и дисциплину. Мало их осталось после тех боев, мало! А этот вот, хоть и лишился руки, уцелел.

– Спасибо, Степушка, – ласково сказал солдату Лукомский и добавил, когда денщик ушел: – Кроме беженцев, полторы тысячи инвалидов у нас на содержании. Где денег набраться?.. Вот ты в Париж собрался. А хорошо ли подсчитал, что у тебя в кошельке?

Вопрос был, что называется, не в бровь, а в глаз. Но Щукин не собирался играть в открытую.

– Ну у меня помимо всех военных училищ и Генштаба все же, как и у Врангеля, Горный институт за спиной. Инженер…

– Голуба, не нужны им русские инженеры. Вообще мы никому не нужны. Союзникам то есть. Мы – другие, понимаешь? Это мы восторгаемся: ах, французы, ах, англичане,

---

[3] Капитан-дроздовец (вскоре полковник) Е.Б. Петерс, человек феноменальной храбрости, покончит с собой в эмиграции в 1922 году, тоскуя по России.

культура, флот, Наполеоны, Вейганы, Нельсоны. А они на нас глядят с другим прищуром. Расчетец! Вот если бы мы были в славе и силе – это да, это – партнер! А сейчас? Сейчас лишь тот русский для них человек, кто с деньгами. Тогда – виза, тогда – Париж или там Лондон. Впрочем, англичане и с деньгами не очень-то пустят. Ну если еще записной англоман, как Уваров или Набоков, – может быть. При наличии денег, конечно, устроятся… Вон король Эдвард даже вдовствующую Марию Федоровну не принял, в Дании приютилась. А все же – тетка…

– Да… – сказал Щукин. – Оно конечно… – Посмотрел на пейзаж сквозь стаканчик с дзуратом: совсем желтое, искристое вокруг. Отпил чайку: хорош!

Неподалеку, с минарета, заголосил муэдзин: «Ла иль Алла иль Мухаммед расул Алла!»…

Лукомский сказал:

– Удивляюсь я твоему спокойствию, Николай Григорьевич. Как ты думаешь, чем закончится наше наступление в Северной Таврии?.. – И, не дожидаясь ответа, продолжил, повинуясь каким-то своим размышлениям. – Союзникам нужен хлеб, уголь… Флот на металлолом? У них, знаешь, после войны своего лома будет в достатке… Деньги, деньги! Здесь всюду расчетец. На нас по-прежнему смотрят как на богачей, с которых еще можно что-то содрать. Англия, правда, уже поняла, что это не так, что содрать можно только с красной, большевистской России. Основные богатства остались там…

Из окна было видно, как на набережной выстраивается для учения пожарный расчет. На головах у турок были английские каски, а ноги босы. Инструктор подравнивал строй, лупя пожарных ботинком по голым пяткам.

Александр Сергеевич неожиданно хохотнул:

– Ах, как богаты мы были, Николай Григорьевич! Сами того не понимали. Хлебосольная, добрая страна. Горьковские грузчики на пятках писали химическим карандашом: «три рубля». Мол, за меньшее не тревожь: обижу. А три рубля сапоги стоили! Солдатский рацион четырнадцатого года помнишь? Фунт мяса в день, два фунта ситного. Англичане четвертью фунта обходились… Французы, когда слышат, что наша земская медицина была бесплатной, не верят. А еще социалисты!..

Он вытер пальцами заслезившийся глаз. «Постарел», – подумал Щукин.

– Ко мне тут приходят артисты, путейцы, писатели, издатели, врачи, статистики… Прожекты, прожекты… В России они на этих прожектах безбедно бы себе жили. А здесь?.. Так что, Николай Григорьевич, напряги извилины, доставай деньги. Чтобы дочка на панель не пошла. Вывернись наизнанку, но достань. Я тебе помочь, извини, не смогу… Есть какая-либо мысль?

– Есть, – сказал Щукин. – Есть.

За окном муэдзин заканчивал выводить суру. Заткнув, как положено, пальцами уши, чтобы ничто не мешало ему

славить Аллаха и его пророка, он был упоен, как соловей. Это были его песня и его мир.

– Денщик у тебя из дроздовских шахтеров? – спросил Щукин.

– Представь себе. Пока кормлю, как всех… Что потом будет делать, с одной-то рукой? Приютился в дворницкой, вместе с кавассами… И тех нужно кормить…

– Серьезный мужик, – заметил Щукин, допивая второй стаканчик дзурата. – И чаек у него отменный, не хуже чем у турок… Ну, спасибо за добрые слова, за угощение…

– Чем могу, Николай Григорьевич. Поживи пока в посольстве, поэкономь денежки, осмотрись. Там у нас на втором этаже, в спальне бывшего посла, всего два семейства разместились, приличные люди. Перегораживаемся, знаешь ли, занавесками – эдакие выгородки, как в театре… и сосуществуем. С надеждой сосуществуем. А вдруг под напором Врангеля сдвинется Россия, опомнится?

Щукин согласно кивнул. Хотя знал прекрасно: не сдвинется, не опомнится. Большевики крепко взяли ее в кулак. А иначе с ней, с Россией, как?

Щукин выждал время, когда дроздовский солдат останется в дворницкой один: кавассы, разодевшись, отправились на свое представительское дежурство у ворот.

При виде Николая Григорьевича однорукий денщик вскочил:

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие!

– Садись, Степан. – Щукин улыбнулся. – Как это ты сразу смекнул, что я высокоблагородие?

– Рука одна, а глаза два, ваше высокоблагородие!..

Щукин присел и указал, чтобы и денщик садился. «Да, два глаза у него, и оба разбойные, – подумал он. – Такие, как надо, глаза».

– Мы теперь оба люди штатские, так что зови меня Николаем Григорьевичем. Я полковник контрразведки, Степан. Но пришел к тебе для хорошего разговора. Дружеского.

Степан кивнул, а сам глаз прижмурил. «Какой разговор у контрразведки? Вербовать, должно быть».

– Что б ты долго не гадал, сразу разобъясню, – спокойно сказал Щукин. – Закури-ка асмоловскую.

Степан с достоинством взял папироску и, не прибегая к помощи Щукина, прижав предплечьем одной руки кремень с трутом, здоровой рукой взял кусок напильника со стола, высек искру и разжег трут. Протянул тлеющий фитиль Щукину:

– Прикуривайте, Николай Григорьевич. Спички у турок больно кусачие.

«Определенно толковый мужик. И надежный», – еще раз мелькнуло в голове полковника.

– Ты, Степан, солдат бывший, а я бывший полковник. И в этом мы равны, что бывшие. Если дело все порушится, как думаешь жить-поживать, Степан? На какие денежки?

– Да как… Только что на начальство наше надежда. Под-

могнет.

– Начальство само может оказаться хоть и живьем, да с одним сухарем. Оно и сейчас уже от чужой милости питается.

– Это верно, Николай Григорьевич, вы наше дело понимаете. Тут одна дамочка, из горничных, шутила: «Турок, он тянет в закоулок, а грек прямо ведет на грех»… Чужбина!

Денщик определенно все больше нравился Щукину.

– Ну а вернуться нет мысли, Степан? В Горловку?

Дроздовец долго и внимательно смотрел на Щукина. Он уже понимал, что за этим разговором скрывается очень важный, но непонятный пока для него особый смысл.

– Мысль есть. Только, попервое, куда я в шахту без руки? Во-вторых, миловать меня не будут. У меня вся родня деревенская, ее продналогом да расстрелами краснюки повывели, я свою злость на милость сменить не могу. Они, полагаю, тоже. Потом, я у капитана Петерса не последний солдат был. Большевики – народ точный, все вызнают. И жалостью не балуются, серьезная публика. Что ж мне, вернуться – да в банду?

– Верно мыслишь. Мне-то тем более возврата нет. Так что грозит нам, Степан, нищета на чужой земле, если сами дураками будем.

Степан с большим интересом поглядывал теперь на Щукина из-под кустистых, суровых бровей.

– Понимаешь, какое дело, Степан. Тут, в Стамбуле, я знаю

много наших русских мерзавцев, которые нажились на чужой беде, пока мы, фронтовики, там рубились. Поэтому, думаю, не грех им немного поделиться. Как их найти, как их прижать – моя забота. Но мне нужен надежный помощник. И чтоб язык за зубами умел держать.

Степан все прикинул. Глаза его посветлели, повеселели. Ай да полковник!

– Неужто я, Николай Григорьевич, на разбойника выглядаю?

– Малость «выглядаешь», Степан. А иначе о чем был бы разговор?

– За искреннее слово спасибо. Что ж, дело неплохое. В самом деле, помирать на улице неохота. Милостыню просить – я уж прикидывал. Без одной руки я. А знаете, у них тут такой обычай: за воровство руку рубить. Вот и доказывай, что это от буденновской саблюки. И не подаст никто… плюнут!

Замолк, словно бы решая спросить что-то важное, но ожидая первого слова от Щукина.

– Доля твоя половинная, – тихо сказал Щукин. – Честная доля.

Степан словно бы поперхнулся. Сказал совсем оттаявшим, потеплевшим голосом:

– А вот за уважение – спасибо. Если хотели, ваше высокоблагородие, слугу иметь до гроба дней, то лучше бы не сказали. И не в том причина, что деньги… Деньги что… Уважение человеческое – вот что натуру переворачивает. Я, знае-

те, как дроздовцем оказался? Село мое – Государев Байрак – под Горловкой, шебутное село, злое. Все шахтеры государственные – нас не забижай, сами кого хошь забидим. Ну как пришли ваши, деникинские, давай мобилизацию устраивать. Не хочешь – под суд. Пошли. Всем гуртом. А как бои начались, первые наши хлопцы, шестерка, офицера своего закололи – и до красных. Следующий черед моей шестерки. Тоже решили до красных. Да! Вызывает нас капитан Евгений Борисович Петерс, командир, стало быть, роты, раздал патроны, говорит: я вас поведу в ночную разведку. До самых красных. Кто захочет, может выстрелить мне в спину. Только будет он на все века подлец и трус, а я за Россию смерть приму… Целую ночь ходили по красным тылам, и он впереди… Как сейчас через тьму вижу его спину – широкий был, росточку небольшого, а крепкий. И привязались мы к нему, а следом и другие за уважение, за человечество в нем. Ежели есть такие офицеры, стало быть, я при них…

Щукин кивнул. Он знал о Петерсе по донесениям, поступавшим в те времена в штаб Добрармии. Тогда на Петерса местный контрразведчик жалобу написал, что капитан благоволит красным, всех пленных берет к себе без разговора.

– Так я на тебя надеюсь, Степан, и дам знак. Как срок наступит – мимо не пройду, – сказал Щукин.

– Одна рука не смущает, Николай Григорьевич? – спросил Степан.

– Другому десять рук дай, а толку не будет.

Щукин пожал Степану единственную руку – на редкость крепкую и ловкую. «Эмиграция роднит нас, офицеров и рядовых, – подумал он. – Того и гляди, мы раньше коммуну построим, чем большевики».

Таня уже утвердилась и прочно устроилась среди бесчисленных занавесок в спальне посла. Здесь тут же нашлись друзья и знакомые.

– Папа, встретила Рождественских… стариков… Они совершенно без ничего. Аки сиры, аки наги. Папа, ты не дашь немного денег?

Николай Григорьевич, повернувшись лицом к стене, достал несколько ассигнаций. Здесь нельзя было показывать две вещи: еду и деньги. Слишком много голодных глаз. Слава богу, что у этих лишенцев есть пока хоть крыша над головой. Надолго ли?

Таня сказала «мерси, папа» и легко упорхнула, держа деньги в кулаке. «Девочка моя, – подумал Щукин, – а кто подаст тебе, если со мной что-нибудь случится?»

В тот вечер он предупредил дочь, что исчезнет по делам на несколько дней, и оставил ее заботам новых друзей. Сам снял жалкий номерок в гостинице у грека с одутловатым лицом, который тут же предложил «русски дэвушка». От дополнительных услуг полковник отказался и на следующий день раздобыл костюм портового грузчика: брезенто-

вую куртку, холщовые штаны и сандалии. В грузовом порту он встал в очередь желающих получить поденную работу.

Очередей было две: турецкая и русская. Турки с русскими не враждовали, считали, что они тоже обижены судьбой и тоже попали «под англичан». Работа случалась нечасто, и у Щукина было в достатке свободного времени для дела, ради которого он сюда пришел. Слоняясь по порту, он болтал с местными знатоками. Выяснил все, что нужно, про русские суда: с каким грузом ходят, что возят тайком и куда возят. Среди грузчиков особых секретов не было, хотя тех, у кого был слишком длинный язык, иногда находили где-нибудь среди штабелей досок или среди мешков с кривым ножом в спине. Но Щукин портовые нравы знал и был в меру осторожен. Он выяснил, что у капитана «Кирасона» Ивана Николаевича Иванова есть собственный домик на улице Алтым-Бакал, хороший домик, с балконцами на втором этаже и с каким-то марсофлотом в виде то ли слуги, то ли охранника. Семью же Иванов продолжал держать в Ялте, так как не решался оставить свой домишко-дачу на Горном проспекте.

Николай Григорьевич, который и ранее по долгу службы часто сталкивался с тюркскими языками, турецкий знал неплохо и благодаря этому завел немало друзей среди жителей Стамбула. Бывал он и в самых глухих закоулках Капалы-Чарши – Большого Базара, в черных норах которого, удаленных от глаз обычного посетителя, мог появиться только весьма уверенный в себе, храбрый и знающий местные

обычаи человек. Он оброс за эти несколько дней черной щетиной, кое-где пробитой серебряными пятнами, и у турок-грузчиков получил кличку Кара-Урус.

Александр Сергеевич Лукомский несколько раз осведомлялся о том, куда исчез Николай Григорьевич, но никто, даже Таня, не могли дать ему ответа. Тане достаточно было изредка получаемых через Степана записок с уведомлением о добром здравии. Если бы Лукомский знал, что настанет день, когда по личному и строгому указанию барона Врангеля он будет срочно разыскивать полковника Щукина, выведенного за штат контрразведчиков, он бы, конечно, старался следить за каждым его шагом. Но, к счастью для Щукина, пока никто не интересовался его делами.

Глава седьмая

Тринадцатая армия покидала «черешневую столицу» Мелитополь в пору, когда сады алели от богатого урожая. Красноармейцы прямо с тачанок протягивали руки и набирали со свисающих на узкие улочки отяжелевших ветвей полные горсти сочной спелой ягоды. Ехали весело, громко переговариваясь, словно и не отступали, а перебазировались на новые квартиры.

Вокзал встретил их огнем. Появились первые раненые и убитые.

– Обошли, гады!

Рванули по пыльным улицам в сторону Федоровки, выскочили на окраину Мелитополя, огляделись. Проехали еще верст пять и увидели стоящий под парами красный бронепоезд…

Больше в штабе Тринадцатой делать Кольцову было нечего, он попрощался со всеми, с кем успел сдружиться за время своего короткого здесь пребывания, и на попутках тронулся в сторону Харькова. О нем там уже знали, его ждали: в штабе Тринадцатой получили несколько строгих шифровок с просьбой откомандировать его в управление тыла Юго-Западного фронта.

Через двое суток Кольцов уже вышагивал по улицам до боли знакомого ему города, который он покинул не так уж

давно при столь трагических обстоятельствах…

Несколько дней после возвращения в Харьков Кольцов был буквально нарасхват. Различные ведомства, а их в украинской столице скопилось много, интересовались положением дел в белом тылу и в Крыму, в частности подробностями высадки десанта Слащевым, которого считали военным гением, настроением в белых войсках, отношением Врангеля к крестьянству и крестьян к врангелевской земельной реформе, крымским подпольем, партизанами и «зелеными»…

Кольцов без конца выступал: в штабе Юго-Западного фронта и в различных управлениях, в отделах ВУЧК и в разведотделах. Кроме того, писал докладные, записки, памятки, рапорты. Он был откровенен и прост. Он отбросил все те проклятые вопросы, которые родились у него при встрече с особистом Грецем: «Может, это уже не те люди встречают его, может, это уже не та страна?»

Он забыл о недавних опасениях, пока вскоре у него не появился повод вновь усомниться, в ту ли страну он вернулся, которую покинул в мае девятнадцатого. На собрании партработников одна дама в серой блузе, из энтузиасток, жаждущих немедленной победы и немедленного коммунизма, попросила его рассказать о героическом рабочем классе Крыма, который борется с Врангелем и подтачивает его тыл. При этом дама победно оглядела собравшихся, ожидая услышать от Кольцова, что пролетариат Крыма вот-вот, через несколько дней, сбросит Врангеля.

– Подполье в основном разгромлено, – сказал Кольцов. – Еще до начала боевых действий Особый отдел в штабе Врангеля возглавил Евгений Климович, генерал-лейтенант и сенатор, «павлон»[4], перешедший в корпус жандармов в девяносто восьмом году. Был и московским градоначальником, и директором Департамента полиции России. Опытнейший специалист со своим штатом сотрудников – профессионалов высочайшего класса. Они нанесли целый ряд серьезных ударов по подполью. Но дело не только и не столько в этом…

Павел принялся объяснять новую политику Врангеля, который с недавних пор всячески старается угодить пролетариату.

– Крымские рабочие могут купить на свою зарплату значительно больше продуктов, одежды, обуви, чем товарищи по классу на советской стороне, где-нибудь в Одессе или Ростове. Они прекрасно об этом осведомлены благодаря проницаемости границ и спекулянтам, которые снуют на шаландах туда-сюда.

Кольцов знал, что в неподготовленной аудитории этого говорить, быть может, и не следовало, но и скрывать правду не хотел.

– Более того, крымские рабочие видят, что заработки врангелевских офицеров в несколько раз ниже, чем у тех, кто стоит за станком или разгружает суда, – после недолгой паузы продолжил Кольцов. – Офицеры по вечерам стоят в оче-

---

[4] Окончивший Павловское военное училище, одно из лучших в России.

реди, чтобы поработать докерами и получить лишнюю копейку. «Я знаю, вы выдержите, – говорил Врангель, выступая перед своими офицерами. – У вас есть идея. Рублем же я покупаю тех, у кого такой идеи нет и кто может ударить в спину»… Крымский пролетариат в основном добросовестно трудится и молчит, не желая себе худшей судьбы…

Дама, негодуя, вскочила.

– Это провокация! – закричала она. – Это клевета на наш замечательный пролетариат! Вы, товарищ Кольцов, утратили чувство коммунистического анализа. Погоны и портупеи на ваших офицерских плечах, видимо, переформировали мировоззрение. Слишком долго вы находились по ту сторону фронта…

Многие одобрительно загудели, поддерживая даму.

«Господи, что с ними? – подумал Кольцов. – Ну ладно, одна дама. Дура, что с нее взять. Начиталась брошюр. Но остальные? Что произошло? Они не хотят знать правду. Они затыкают уши».

Эта ночь в гостинице ВУЧК, бывшем «Бристоле», прошла у Кольцова неспокойно. Казалось бы, что такое дама с ее репликами, – но от нее исходила какая-то угроза, которая в ночные часы стала особенно ощутимой. Да, времена изменились. Раньше, помнил Кольцов, яростно спорили, потом мирились. Сейчас же Павел наткнулся на нечто жесткое, болюче острое… «Образовался остов нового государства, вот что, – думал Кольцов в тумане полусна. – И к нему прилипли

моллюски. Присосались… не хотят пускать “чужого”… Что же, я должен потрафлять мнению тех, кто избрал своим оружием обушок голой теории?.. Черта с два!..»

В среду шестнадцатого июня Кольцову сказали, что вечером его примет Дзержинский. Председатель ВЧК теперь находился в Харькове еще и как начальник тыла Юго-Западного фронта: такая появилась у него новая должность. Однако и она не была последней. Через несколько дней он должен был выехать на польский фронт, чтобы там, неподалеку от действующей армии, которая продолжала успешно наступать, возглавить Временный ревком Польши и Польское бюро ЦК РКП(б). Дзержинский понимал, что это значит: с занятием Варшавы он становился руководителем новой, социалистической Польши.

Это и волновало его, и радовало, и пугало. Польша, конечно, его родина, но он больше ценил Россию с ее послушным и понятным ему населением. Польша непредсказуема.

Несмотря на сумятицу дел, ломавших все планы, Дзержинский принял Кольцова в точно назначенное время – ровно в половине восьмого вечера.

Длинный июньский день еще пробивался в полузашторенные окна кабинета. Он высвечивал крепкий, дубовый, оставшийся от прежних хозяев письменный стол, на котором лежало лишь несколько бумаг, ручка с небольшим, закругленным на конце пером «рондо», легкая стеклянная чер-

нильница и тоже очень легкое деревянное пресс-папье.

Кабинет посещали не только сотрудники и друзья Дзержинского. Иногда он любил побеседовать с заключенными, представлявшими особый интерес, с глазу на глаз, поздно вечером или ночью, без охраны. В этом случае тяжелое мраморное пресс-папье или же ручка с острым пером – не те вещи, которые должны находиться на столе. Впрочем, не было случая, чтобы кто-то из посетителей попытался наброситься на всемогущего хозяина «чрезвычайки».

Кроме того, у председателя ВЧК было очень сильное оружие, которое, надо думать, предупреждало всякие попытки покушения. Взгляд. Этот пристальный, холодный взгляд, от которого цепенели даже видавшие виды люди, Дзержинский выработал в долгой вятской ссылке, в глухой деревушке Кай, часами стоя перед зеркалом. Тогда он был совсем молод, но уже считался разоблачителем провокаторов.

– Дайте-ка я на вас посмотрю! – сказал председатель ВЧК Кольцову, когда тот, представившись, остановился у окна. С минуту он изучал вошедшего. В персональной папке Кольцова лежали не только хвалебные отзывы, и Дзержинский хотел составить собственное впечатление о человеке, который совершил несколько действительно невероятных подвигов, а также «заработал» и три-четыре докладных, в которых сообщалось о Кольцове как о перерожденце.

– Что ж, орден будет вам к лицу, – сказал наконец Дзержинский и зачитал постановление ВЦИК о награждении

Павла Андреевича Кольцова орденом Красного Знамени. Улыбка тронула краешки тонких, малокровных губ председателя ВЧК.

Он вручил Кольцову красную сафьяновую коробочку с орденом и удостоверение. Оба понимали, что работа Павла вовсе не требует ношения ордена на груди: ни к чему выделяться и обращать на себя внимание прохожих, для которых человек с «Красным Знаменем», первым и пока единственным орденом Республики, был явлением до крайности редким.

– Очень своевременная и заслуженная награда, – сказал Дзержинский, поздравляя Павла. Только председатель ВЧК понимал подлинный смысл фразы. Орден как бы закрывал рассмотрение «дела Кольцова», чего весьма серьезно требовали те, кто написал докладные – люди достаточно авторитетные. И это было особенно важно потому, что Дзержинский действительно собирался навсегда уйти из ЧК, всерьез и надолго уехать в Польшу, чтобы оттуда, из Варшавы, двигать локомотив мировой революции дальше, на запад. А авторитет авторов докладных в отсутствие Дзержинского мог возрасти. Председатель ВЧК знал, что Кольцов и многие-многие другие люди думают, будто он, Дзержинский, является и мотором, и маховиком, и сердцем, и мозгом созданной им «чрезвычайки». Полновластным ее хозяином. Это было не так. Машина, насчитывающая десятки тысяч человек, имеющая свои отделения во всех уездах, на желез-

ных дорогах, в армии, уже работала самостоятельно и далеко не всегда подчинялась «хозяину». Машина обзавелась собственным мозгом и сердцем, собственным мотором. И поэтому Дзержинский беспокоился за Кольцова.

– Рассказывайте. Обо всем. У нас достаточно времени, – сказал Дзержинский.

– Но сначала ответьте мне вы, Феликс Эдмундович, на один вопрос, – прямолинейно сказал Кольцов. – На вопрос, который мучает меня давно. И ответ на который я могу получить только у вас.

– И что же это за такой каверзный вопрос, что на него может ответить только председатель ВЧК? – скупо улыбнулся Дзержинский.

– Это очень важно для меня… Скажите, Феликс Эдмундович, правильно ли я поступил тогда, осенью девятнадцатого, подорвав эшелон с танками? Не совершил ли крупной ошибки? Ведь, возможно, я по-прежнему бы работал в белых тылах, быть может, в штабе у Врангеля. Или в ином месте. И передавал бы сюда важные сведения. И Красная Армия несла бы намного меньше потерь…

Дзержинский подумал.

– Вы приняли решение, – сказал он. – Вы имели на это право, поскольку действовали в одиночку… В революционных и в военных делах любое решение, даже неправильное, лучше, чем бездействие.

Кольцов кивнул в знак того, что принимает точку зрения

председателя ВЧК. Затем он принялся докладывать. У него было достаточно времени, чтобы составить обстоятельный доклад. И в конце концов, как бы вне текста, рассказал о самоуправстве особиста Греця: именно такие действия вызывают возмущение и настраивают людей против ЧК.

– Я знаю об этом случае, – сказал Дзержинский.

Сообщение Греця о противодействии Кольцова «революционному суду» лежало у него в числе других бумаг. И поскольку Грець был выдвиженцем члена Реввоенсовета фронта Берзина, а Берзин в свою очередь… Получалась длинная цепочка, о которой Кольцов и не догадывался. Он был убежден, что Дзержинский здесь решает все и вся.

– Я поручил разобраться, – сказал Дзержинский. – Во всяком случае, я на вашей стороне.

Во время доклада, внимательно слушая, Дзержинский продолжал изучать Кольцова, и мысли его текли как бы параллельным руслом. «Парня нужно спасать. Несмотря на огромный опыт конспирации и разведывательной работы в чужом тылу, он бесхитростен и прямолинеен. Он не понимает, что по возвращении механизм принял его как шестеренку. И нужно вращаться в соответствии с общим движением».

Когда-то он, Дзержинский, тоже был резким и непримиримым. Он создавал аппарат насилия ради победы революции и торжества трудящихся. Он думал, что на его зов придут только те, кто руководствуется высочайшими идеалами. Увы, таких нашлось немного. Впрочем, скоро выяснилось,

что аппарату, когда он стал механизмом огромного государства, сложным, с многочисленными передачами и колесиками, нужны всякие люди. Нужны хитрецы, циники, насмешники, палачи. Нужны авантюристы – зачастую они составляют хитроумные планы операций лучше всяких честных и чистых, поскольку знают все теневые стороны человеческой натуры. Они лучше устраивают ловушки, лучше угадывают возможные диверсии, предательства и покушения.

«Парня следует направить в ИНО, – размышлял Дзержинский. – Подальше от фронта, где кипят политические страсти и где могут расстрелять ни за понюшку табаку… Расстреливать научились все. Не в этом ли суть конфликта между Кольцовым и Грецем?»

Еще в начале двадцатого года ВЦИК издал приказ об отмене смертной казни. «Всюду по Республике, за исключением районов боевых действий». Но никто не определил, что такое районы боевых действий, где они? Ближайшие тылы польского и врангелевского фронтов? Ближайшие – это какие? Сто километров от линии боев, двести, триста?.. По всей Республике вспыхивают крестьянские восстания. «Вилочные мятежи», когда крестьяне хватают все, что под руку подвернется – вилы, цепы, топоры, колья, – и уничтожают местную власть и отряды продразверстки. Это что, тоже районы боевых действий?

«В ИНО, определенно в ИНО! – решил Дзержинский. Почти год назад он подписал приказ о создании Иностранно-

го подотдела при Особом отделе ВЧК, который должен был заниматься агентурной работой, разведкой и контрразведкой за рубежом. Курировал этот подотдел Менжинский. – Менжинский хитер, может быть, даже коварен, но он не расстрельщик и способен разбираться в людях… Необходимо упрятать Кольцова под крыло Вячеслава Рудольфовича. Но пока Кольцов здесь, ему необходимо серьезное звание. Орден – хорошо, но он его не защитит. Ордена были и у Сорокина, и у Махно, и у Миронова».

Размышляя обо всем этом, Дзержинский продолжал спокойно рассматривать Кольцова.

– Скажите, какие иностранные языки вы знаете? – неожиданно спросил председатель ВЧК.

– Немецкий, французский – не в совершенстве, но сносно, – ответил Павел. – В объеме гимназии.

– Это хорошо. – И как бы мимоходом добавил: – Думаю, коллегия ВУЧК поддержит меня, если я попрошу присвоить вам звание полномочного комиссара…

Это было очень высокое звание. Такого поворота Кольцов не ожидал. Орден и звание, – пожалуй, Феликс Эдмундович его переоценивает.

Но Дзержинский, приняв решение и уже определив дальнейшую судьбу Кольцова, подвел Павла, взяв его под локоть – жест, весьма несвойственный для председателя ВЧК, – к одной из карт на стене. Отдернул шторку.

– Обстановка здесь, в Северной Таврии, вам более или ме-

нее знакома. Благодаря вашему предупреждению мы успели вывести из-под удара главные силы Тринадцатой армии. Сейчас две дивизии, в том числе латышская, отступили к Каховке. Возможно, нам придется сдать это местечко и уйти на правый, крутой берег Днепра… На востоке, вдоль Азовского моря, мы спешно вводим резервы, чтобы не дать Врангелю выйти к Дону и поднять казаков… Можно сказать, мы локализовали район наступления Врангеля. С севера на белых обрушился конный корпус Жлобы. Если бы не ваше предупреждение о десанте, положение выглядело бы намного хуже. Так что не считайте свои награды простым авансом… Эх, если бы не Махно, который съедает наши резервы, – вздохнул Дзержинский, неожиданно перейдя к больной и изрядно надоевшей теме. – Он действует в ближних тылах… Это нарыв, не дающий зарасти ране.

Раздвинув шторки второй, значительно большей карты, председатель ВЧК продолжил:

– Теперь… Белополяки, которые захватили большую часть Украины и Белоруссии, отступают. Освобожден Киев. Коростень и Житомир. Освобождена также Белая Церковь… Кажется, Пилсудскому, который решил создать Польшу от моря до моря за счет России, Украины и Литвы, придется сильно поумерить свой аппетит.

Дзержинский усмехнулся. Кольцов не мог понять смысла этой усмешки, а председатель ВЧК, естественно, не стал вслух вспоминать, как вместе с Пилсудским начинал свою

революционную деятельность. Причем Юзеф, сторонник террора, бывший на десять лет старше Дзержинского, казался Феликсу учителем, пророком. Но уже тогда Юзеф стал клониться в сторону национализма. И пути их разошлись.

Теперь «социализм» Пилсудского проявился в полной мере. Он пришел завоевывать русских, вместе с которыми начинал борьбу, чтобы создать общество без наций и классов. Карта своими линиями боев рисовала портрет нового Юзефа.

Павел прервал наступившую в разговоре паузу. Ему показалось, что председатель ВЧК ждет от него какого-то ответа.

– Феликс Эдмундович, я готов отправиться на польский фронт, – сказал Кольцов. – Мне кажется, там сейчас решаются очень важные дела. А я как-никак офицер-окопник. Да и театр военных действий мне хорошо знаком и по германской и по гражданской.

– Вам предстоит другая работа, – жестко, в приказном порядке, ответил Дзержинский. – Новая и очень ответственная. А пока отдохните. Пока – пятидневный отпуск.

– В такое время?

– Именно. В такое время… После тюрем и ссылок мы всегда давали нашим товарищам немного отдохнуть.

Дзержинский вздохнул, покачал головой. Присел на краешек стула и надолго замолчал, словно даже забыл о своем госте.

– На фронте, там все понятно. Вот – свои, а вон там –

враг. А что такое Махно? – спросил вдруг Дзержинский. – Видите ли, у нас принято называть махновцев бандой. Если бы это было так, мы бы давно с ним справились. А вот не получается. Потому что это не банда, а крупная повстанческая крестьянская армия, которая воюет с нашей экономической политикой. А поскольку мы эту политику осуществляем штыками, то и нам отвечают тем же. Мы сами себя обманываем, не замечая этой армии. Кроме того, у нас с Махно полный разнобой в отношениях. Пытаемся наладить союз против Врангеля, а сами расстреливаем подряд махновцев… Троцкий создал при РВСР[5] так называемый регистрационный отдел. Это, по сути, разведка и контрразведка, противопоставленные ЧК и подчиняющиеся лично Троцкому и Склянскому. У нас, к сожалению, нет серьезных агентов в руководстве у Махно. А у Троцкого есть. Но он ими не делится. Троцкому удалась крупная операция – руками Махно он устранил атамана Григорьева и направил григорьевскую крестьянскую армию против Деникина. Ленин считает Льва Давидовича крупнейшим специалистом по Махно. Но Троцкий неровен. Он расстрелял прибывших на переговоры махновских командиров. И все достижения коту под хвост. Махно снова яростно выступает против нас. Троцкий во всем полагается на Якова Блюмкина, личного своего агента на Украине. Блюмкин занимается тем, что тайно уничтожает «анархиствующих» народных командиров, батек и во-

[5] Реввоенсовет Республики, высший военный орган.

ждей. Думаю, что смерть Боженко и Щорса – дело его рук. И тем больше людей уходит к Махно!..

Пристально и строго Дзержинский посмотрел на Кольцова, как будто давая понять, что посвящает его в самые строгие секреты тайной работы в Республике. Более того, в дрязги между первыми лицами. Но он хотел, чтобы Кольцов после его отъезда в Польшу хорошо представлял себе, что попал в бурлящий котел. У Кольцова должны как можно более быстро исчезнуть розовые представления о великой и прекрасной даме Революции. Он поднял руку, пресекая фразу Кольцова о том, что тот готов хоть сегодня заняться Махно.

– В Москву, в Москву, товарищ Кольцов! В распоряжение товарища Менжинского! Сразу после отдыха…

Кольцову оставалось только козырнуть – это был приказ. Ему казалось, что слово такого человека, как Дзержинский, – это и есть судьба, неминуемая и предопределенная, как в древнегреческих трагедиях. Такой судьбе нелепо противиться, возражать. Ей можно только следовать.

Ни он, ни сам председатель ВЧК не полагали, что на пути директивного и самого строгого предопределения, даже если оно сформулировано самим Дзержинским, может встать слабое дитя стихии – случай – и круто изменить судьбу в считанные дни.

Глава восьмая

Знаменитое огромное здание на Сумской походило на растревоженный муравейник. Слышались разговоры об окрестных бандах и о том, что передовые отряды самого Махно бродят под стенами столицы Украины. В людных местах нет-нет появлялись листовки, бандитский батько обещал скоро «вогнать красным шило в задницу».

Кольцов пришел сюда на следующий день после встречи с Дзержинским, чтобы завершить дела и получить предписание на отъезд в Москву. На третьем этаже окна были настежь распахнуты, в них залетал тополиный пух. Сквозняки гнали его по коридору и закручивали в спирали. Квадраты солнечного света на разбитом паркете дышали жаром. По коридорам то и дело проходили обвешанные оружием красноармейцы.

– Я с хлопцами на Холодную гору: каких-то людей с винтовками ночью видели… Что за люди, сколько их, откуда?

– Сухой паек на неделю. С бронепоездом «Коммунист Скороход» катим.

– Тебе кого? Сахненко? Тю-тю, нету Сахненко. Весь вышел. В аккурат неделю назад. Пуля в лоб…

Все это не походило на жизнь большого тылового учреждения. Двое матросиков прокатили пулемет. Колеса отстучали на выбитых буковых клепках паркета нервную дробь.

«Зачем мне сейчас в отпуск? – подумал Кольцов. – Время-то, похоже, начинается самое что ни на есть горячее…»

К удивлению Кольцова, решение о назначении его полномочным комиссаром Особого отдела ЧК уже состоялось. Мандат вручили в отделе кадров совсем не торжественно, как-то второпях. Кадровик – человек в полинявшей гимнастерке, сохраняющей темные следы снятых из-за жары ремней амуниции, – извинился, сказав, что его хотел поздравить сам товарищ Карл Карлсон, но он срочно отбыл в Юзовку.

Саму процедуру вручения мандата прервал какой-то вихрастый паренек, заглянувший в кабинет.

– Березину форсировали! – крикнул он и исчез так же внезапно, как и появился.

– Видал? – спросил человек в гимнастерке. – На западе прем, а здесь – Врангель!.. Возьми приказ о пятидневном отпуске, товарищ Кольцов. И не забудь получить денежное довольствие. И паек в каптерке. Подкормись. Поднакопи силенок, друг, скоро понадобятся!..

На изрезанной ножом толстой столешнице перед Кольцовым лежали неслыханные богатства: три буханки черного хлеба, полтора фунта сала, несколько завернутых в газету селедок, холщовый мешочек с пшеном и трофейные английские «манки мит» – целых три банки. И совсем уж немыслимое богатство: две длинногорлые бутылки вина из погребов Абрау-Дюрсо, трофеи мартовского наступления Восьмой ар-

мии на Новороссийск. Видимо, это уже был настоящий комиссарский паек.

Павел помнил иные времена, когда красноармейское довольствие не отличалось от командирского…. Что ж, с прибытием в новую страну, Павел Андреевич. За это время Республика, расставшись с царством свободы и общим братством, приобрела скелет. Немножко окостенела. В ней появились органы самые важные, просто важные и не очень важные. Так, миллионы лет назад, среди извержений, наводнений и ливней, рождалась земля. Потом она окостенела, то есть окаменела и приобрела жесткие формы.

А каптенармус, пожилой, дотошный, служивший на таких же должностях, наверно, и при царе, заставил Кольцова расписаться на бесчисленном количестве листков. И в заключение отослал Павла в финчасть. В финчасти прямо в двери было вырезано небольшое окошечко. Кольцов просунул в него голову, и тут же чей-то крючковатый палец ухватил его за ворот.

– Кольцов? Браток! Заходи!

Окошко захлопнулось, но открылась обитая железом дверь. Перед Кольцовым сидел на стуле безногий мужик в потной гимнастерке. Культи его – чуть ниже колена – свешивались со стула, к которому он был пристегнут. С помощью двух палок кассир довольно ловко передвигался по своей комнатке, толкая стул, к каждой ножке которого было привинчено колесико.

– Я, брат, про тебя много знаю, и встречались когда-то, – сказал инвалид. – Я тебе переправу к белым налаживал и потом переправлял. Вместе с Семеном Красильниковым. Бобров – проводник, не упомнишь? Тогда я, правда, на двух ногах был… Потом ты эвон где оказался, у самого Ковалевского! Молодец! Я тогда подумал: «мой»-то не промах, в герои вышел… А ноги… ноги что ж… – Он перехватил сочувственный взгляд Кольцова. – Ноги они мне шаблюкой… Я, видишь ли, погорел и попал во фронтовую контрразведку, самую злую, у Кутепа… Ну сгоряча ноги мне на бревно – и бросили… Выжил я. Братки-чекисты в кассиры меня пристроили, все же паек, да и уважение… Вот только считаю пока все еще плохо.

Безногий был очень рад, что встретил своего «крестника», и говорил без умолку. Видно, Кольцовым он был действительно очень горд. Их окружали коробки, ящики с деньгами, многие ассигнации и в самом деле были не пересчитаны и валялись в мятом виде, как труха.

– Ты вот тот ящичек из-под французских галет возьми, поставь сюда, – попросил инвалид Кольцова. – Тебе сколько положено? – Он подкатил к столику у оконца, заглянул в ведомость. – Шестьсот пятьдесят две тысячи? Не погано! Погуляешь! Хотя… что такое деньги? Отмирающий элемент старой жизни… Скорее бы! За кружку пива, заразы, дерут полторы тысячи, во как!.. Поглядим, что тут у нас в ящике… Тебе какими давать?

Ящик был весь заполнен разноцветными ассигнациями, большими и маленькими, даже размером с трамвайный билет. Безногий Бобров сразу понял, что Павел слабо разбирается в современном финансовом положении, и стал объяснять. Он извлекал из ящика и раскладывал перед Кольцовым самые разные денежные купюры.

На стол легли большие, едва ли не с тетрадочный лист, похрустывающие великолепного качества бумагой николаевские сторублевки – «катеньки», с изображением величественной императрицы, и чуть поболее, такого же качества пятисотрублевые «петеньки», на которых грозно топорщил усы строитель Санкт-Петербурга; государственные кредитные билеты Временного правительства, невыразительные, хотя и тоже хорошо отпечатанные; какие-то «думские билеты» с хилым однобоким орлом, прозванные народом «курицей»; скромненькие расчетные знаки молодой РСФСР, отпечатанные в Пензе и за это обозначенные кассиром как «пензяшки»; самодовольные, напечатанные на дорогой лощеной бумаге с водяными знаками купоны по тысяче и по пять тысяч рублей; харьковские чеки судосберегательного товарищества «Автокредит» с изображением автомобиля и мизерной ценностью в один и три рубля; билеты «Займа Свободы», выпущенные Керенским и Гучковым, – по их виду чувствовалось, что свобода весьма бедна; похожие на почтовые марки талоны каких-то предприятий, ценностью не в рублях, а в единицах продукции – в серпах, чашках, тарелках;

деникинские «колокольчики», выпущенные в Ростове (их-то Кольцов хорошо знал и сразу отличил по изображению ландыша); петлюровские шаги и карбованцы с изображенными на них трезубцами и счастливыми селянами; аляповатые, безвкусные махновские гривны и даже уйма всяческих простейшего вида ассигнаций и купонов, напечатанных разными батьками и атаманами во всех городах и весях, где имелись типографии.

– И все это ходит? – спросил ошеломленный Кольцов.

– Все ходит! Все! Даже фальшивки! – весело ответил кассир. – Так Президия Украины постановила. Потому что иначе будет такая путаница, что не приведи боже…

– А какие же все-таки лучше? – растерянно спросил Кольцов.

– Лучше всего – валюта, – рассмеялся инвалид Бобров. – Но она строго учетная. Да ты не гляди, какая деньга фальшивая или нет и какое достоинство… Гляди на печатку!

И действительно, на каждой ассигнации, купоне, чеке стояла надпечатка Харьковского отделения Государственного банка. «50 рублей», «100», «500», «1000», «20000»… Все, различные петлюровские, махновские деньги, даже самые явные и неумело-бессовестно выполненные фальшивки, были помечены надпечатками.

– «Нуллификация», – с трудом выговорил Бобров. – Выбиваем почву из-под буржуазии, товарищ Кольцов. Накопил, к примеру, буржуй пятьсот тыщ и думает: «Дай-ка я мель-

ницу куплю!» А шиш ему артельный! Пуд муки он купит – и то со спасибочком. Поэтому мы буржуя денежной массой разоряем, как товарищ Карл Маркс учит. Ты, гад, всю жизнь деньгу к деньге копил? Так получи спичечный коробок! Я, браток, бедный – и ты, господин, стал бедным. И выходит, у нас с тобой по нулям! Сильная вещь теория, скажу я тебе, браток товарищ Кольцов, все к порядку сводит… А вот валюту сдай. Золото, валюта – общенародное добро, с этим у нас строго. И никаких надпечаток. Фунт – он и есть фунт, одно слово.

Кассир вытер лоб: даже вспотел от этой лекции.

– Ты, товарищ Кольцов, не сомневайся и бери царские, – закончил Бобров, видя растерянность Павла. – Народ от них еще не отвык. К тому же вид имеют, не мнутся. Портреты – хоть на стенку, если б старый режим. Скрипят, что новая подметочка. И величину имеют, больше утиральника. Деньги, словом, не газетка. Бери!

Он выдал Кольцову пачку «катенек» и «петенек» и на прощанье сказал, чтоб Кольцов зашел еще в «пункт вещевого довольствия».

Кольцов слышал, как за скрипучей железной дверью, щелкнувшей замком, проскрипели колесики, – кассир поехал к своему окну. Увы, Кольцов не мог вспомнить этого Боброва. Да, было дело, когда Красильников переправлял его на ту сторону фронта, вел их в сумерках какой-то чекист, лица его он попросту не приметил. И позже, в поезде, до

самого нападения батьки Ангела, негласно сопровождал его этот же чекист, но уже переодетый в крестьянскую одежду. Потом его Кольцов больше не видел. А теперь вот никак не мог вспомнить его лица. Стыдно, разведчик Кольцов!..

Под конец дня чудесных одариваний Павел получил исподнее, гимнастерку, галифе и почти новые сапоги. Все это было очень кстати, потому что и обувка его, и остальное износилось уже основательно. И фуражечку дали с лакированным козырьком.

В пункте вещевого довольствия висело большое, во весь рост, треснутое зеркало. Кольцов оглядел себя, нового. Хорош! Почти жених. Только невесты нет. И кажется, не предвидится. Могла бы быть невеста, да, увы, уехала. Где-то она сейчас? В Стамбуле? Или уже добралась до Парижа?

Там же, в вещевом складе, Павел получил объемистый сидор – солдатский вещмешок. Привычно завязал узел, закинул лямки на плечо. Сколько добра у него за спиной! По нынешним временам – богач! А поделиться не с кем.

Он вышел на Сумскую, город пахнул на него жаром, смягчаемым зеленью бесчисленных харьковских садов. Здесь все было хорошо ему знакомо еще со времен адъютантства у Ковалевского. Странно, сейчас та жизнь, полная тревог и смертельных угроз, постоянного лавирования, необходимости хитрить, изворачиваться, скрываться под чужими ему погонами, казалась милой, неповторимой, сладостной. Так взрослому человеку мнится детство.

Это, должно быть, из-за Тани. Он шел по знакомым местам: по Сумской, Чириковскому переулку, Рымарской, потом обратно, не имея цели, может быть, впервые за последние годы, и тяготясь богатством за спиной.

Он прошел мимо Института благородных девиц, в котором училась Таня. Когда-то, когда они здесь прогуливались, она, посмеиваясь над пуританскими институтскими порядками, много ему рассказала о той былой поре… И вот здесь, в Университетском саду, они тоже иногда гуляли. Сад за эту зиму несколько поредел, многие деревья пошли на топливо, все же он был по-прежнему красив и источал тонкие летние ароматы и освежающую прохладу… Коммерческий клуб на Рымарской. Здесь, в зале зимнего оперного театра, они слушали в ту пору «Кармен»… А вот тут, у небольшого сквера, близ ресторана «Буфф», он участвовал в мастерски срежиссированной, подстроенной драке, которая позволила ему с гордостью носить синяки, полученные при «защите чести незнакомой девицы». Все было сделано правильно, и единственное, что смущало его, – укоризненный взгляд Тани, которая, не в пример всей контрразведке, не очень поверила в правдивость изобретенной им истории.

Милая Таня, возле каких театров и ресторанов ты проходишь сейчас? «Комеди Франсез», Гранд-Опера, «Мулен руж»? Какие неодолимые тысячи верст и, хуже того, какие неодолимые границы их разделили?

Что говорить: ведь и Харьков стал теперь другим, дале-

ким, несмотря на то что еще совсем недавно Кольцов чувствовал себя на этих улицах своим. Меньше года назад, во времена Ковалевского, город шумел и звенел. Сейчас он стал серым, тихим, затаенным. Исчезли яркие, зазывные рекламы ресторанов, крест-накрест заколочены досками окна и двери больших магазинов. Лишь металлические скобы торчат из кирпича в том месте, где была нарядная вывеска «Хлебная торговля братьев Чарушниковых». Прямо по полузакрашенной белилами вывеске «Мясо, колбаса» выведено «Бей барона!».

Всюду в подворотнях, в переулочках, подъездах, открытых настежь по причине отсутствия дверей, шел какой-то обмен или скрытая торговля. Но и торговля была похожа на обмен. Получив деньги, люди тут же старались от них избавиться, обменять на муку, масло, крупу, сало, самогон, кой-какую одежонку, большей частью трофейную, с брошенных деникинских складов. Кое-где в полуподвалах еще сохранились лишенные всяких вывесок пивные, где посетитель к кружке дрянного пива мог получить, если были хорошие деньги, еще и тощую таранку.

Странно, ведь и деникинцам тоже достался разрушенный, пустой, нищий город. И как быстро все зашумело, преобразилось, как быстро запахло свежими калачами и «французскими» булками, жареным мясом, пряностями, и где-то нашлись яркие краски для вывесок, реклам и афиш!..

– Стой, гражданин!

Кольцов вздрогнул, как будто окрик патруля застал его за чем-то предосудительным. Его остановили трое красноармейцев в видавших виды гимнастерках, с винтовками за плечами.

– Ходишь, ходишь со своим мешком, – сказал один, видимо старшой. – По форме вроде как командир, а в петлицах ничего… А чего носишь-то, покажь!

– Щас многие спекулянты военное нацепляют, – пояснил второй.

Кольцов протянул мандат. Старшой медленно прочитал текст, и лицо его изменилось, стало даже немного испуганным. Он отдал честь.

– Товарищ знает, где с чем ходить, – пояснил он своим товарищам. – А мы прощения просим. Сами знаете, бдительность. Тут, в Харькове, и днем-то всякое случается…

– Нет, отчего же. Вы поступили правильно, – примирительно и даже весело сказал Кольцов. – Так и действуйте.

Удаляясь от красноармейцев, он услышал за спиной шепот старшого:

– А может, это нас проверяют. На бдительность…

«Хорошо, что остановили, – подумал Павел. – Выбили из головы эти странные мысли. Ироничные и какие-то… неправильные, что ли. Может, я и в самом деле стал перерожденцем? Мне надо смотреть вдаль, видеть перспективу, а не одни магазины и ресторанчики. Вот-вот наступит мировая Революция. Вслед за Польшей на путь коммунизма станет вы-

сокоразвитая Германия. А там и… Все вместе мы быстро найдем путь к красивой, полноценной жизни. Без денег, без роскоши, но в равноправии и общем счастье. Даже сейчас нищая Республика отменила плату за образование, за железнодорожное сообщение, почтовые услуги, проезд в трамваях и проживание в квартирах. Это теперь общее достояние. А что же будет, когда весь мир откажется от власти капитала? Людей перестанут мучить неравенство, нищета – при богатстве других… Надо только перетерпеть это тяжелое, безрадостное время!»

Ноги сами вынесли его к углу Сумской и Епархиальной. Какие-то воспоминания были связаны у него с этим местом, но он не сразу смог сообразить, какие именно. И только когда взгляд скользнул по афишной тумбе, память подсказала: здесь, на этой вот тумбе, Павел впервые увидел объявление, которое несказанно обрадовало его. Оказавшийся среди чуждого и враждебного мира, он впервые понял тогда, что не одинок, что где-то рядом находятся друзья, соратники, которые готовы помочь ему в трудную минуту. Это было объявление, посредством которого Иван Платонович Платонов и его дочь Наташа давали ему знать, что явка харьковской чекистской группы действует и его ждут!

Всего лишь год прошел с тех пор, даже меньше, но сколько произошло событий! Погибли многие из его соратников, умер дорогой и милый его сердцу Иван Платонович, остались в Севастополе, среди врагов и опасностей, Наташа,

Юра, Красильников, Фролов.

И сейчас, как и тогда, тумба была обклеена десятками объявлений. Но как и весь Харьков, как и все его граждане, эта объемистая афишная колонна выглядела серенько, бледно, ничтожно и как-то испуганно. Не было больше ярких, красочных, громко-зазывных реклам и объявлений, всю поверхность тумбы покрывали маленькие объявленьица, сделанные чернилами или карандашом на обрывках тетрадной или даже оберточной бумаги. Граждане сообщали о своих крошечных коммерциях, и в этих сообщениях сквозила опаска: частная деятельность, как буржуазный пережиток, была запрещена. Адреса выглядели туманно и расплывчато.

«Мастер делает табуретки и другую простую мебель. С 10 до 12 на углу Змиевской и Скотобойного»… «Меняю комплект мужской одежды на пшено. 2-я подворотня по Старо-Московской от Конной площади, в 8 вечера»… «Шью мужское женское белье, а также детям. Кушнерович. Спросить у входа в синагогу на Немецкой»… «Извожу моль, клопов и пр. Вход на Залопанскую толкучку»…

И вдруг одно из объявлений обожгло Кольцова: «Покупаю и произвожу обмен старинных русских монет с гражданами коллекционерами. Обращаться по адресу: Николаевская, 24, кв. 5. Старцев И. П.»… Не «псевдо» Ивана Платоновича, а подлинная его фамилия. Значит, это не старое объявление, оставшееся еще с тех давних времен. И наклеено оно на объявления уже явно советского времени. Кроме того, написа-

но «с гражданами», а не «с господами». И бумага еще не выгорела под солнцем. Нет-нет, это объявление повесили явно недавно.

А что, если Иван Платонович жив? И этим объявлением извещает всех тех, кто его хорошо знает, что он жив? Жив! Как и год назад, унимая волнение, Кольцов направился от маленького скверика с площади Святого Николая вниз по Николаевской, которая, изгибаясь дугой, спускалась к набережной тихой речушки Харьковки. Только на этот раз он не оглядывался, не «проверялся», боясь привести за собой «хвост», а сразу же отыскал нужный дом и поднялся на второй этаж.

На том месте, где когда-то была привинчена бронзовая табличка «И.П. Платоновъ, археологъ», теперь красовалась картонная, с иной надписью, точнее, с иной фамилией: «И.П. Старцев, археолог».

Павел постучал. Но ответа не услышал. Он стучал снова и снова. Но ответом была полная тишина… Не везет… Павел постучал в соседнюю, напротив, дверь. Она распахнулась на удивление быстро. На пороге стоял полный военный, в расстегнутой гимнастерке, с крупной звездочкой и тремя кубиками на левом рукаве. Одна щека его была густо намылена: он брился. Павел безошибочно определил в нем тыловика, снабженца или штабиста.

Военный тоже изучающе оглядел Кольцова, отметил, что он в форме, но без знаков отличия, и принял насторожен-

ную и вместе с тем надменную позу. Из двери несло запахом мокрой побелки.

– Что угодно?

– Прошу прощения, здесь напротив археолог проживает… Иван Платонович. Может быть, вам, как соседу, известно, где он, как его отыскать? Может быть, в университете?..

– Не знаю, – ответил военный. – Мы всего лишь два дня как сюда переехали. Еще не успели познакомиться.

В двери показалось второе лицо – женское. Доброе, хорошее лицо. Женщина вытирала тряпкой руки.

– Я видела тут старичка… Позавчера, точно, – сказала она. – Попросил меня, чтобы всех, кто к нему придет, направляла в хибарку напротив нашего дома. Там женщина живет, с детьми, ее, кажется, Леной зовут. Так вот, к ней… Вы сходите, она, наверное, что-нибудь знает…

Кольцов спустился на улицу и на противоположной стороне, чуть наискосок, почти у самого берега Харьковки, увидел действительно хибарку, на которую прежде никогда не обращал внимания. Она была запущенной и нищей. Серая солома на крыше явно требовала обновления, в переплете маленьких оконцев виднелись кусочки фанеры, а стены, когда-то густо покрытые белой глиной, теперь открывали, точно ребра, проступившую там и сям дранку. Хатка явно присела на один бок, словно задумавшись о своей тяжелой судьбе.

Кольцов увидел, как во двор вышла молодая женщина

с тазом, полным белья, и принялась его развешивать. Когда она тянулась, чтобы расправить простыни или рубашки, ее старенькое ситцевое платье в горошек туго натягивалось, подчеркивая, даже как бы открывая всю ее крепкую, молодую стать, и тогда исчезали из поля зрения и старая хатынка, и простыни со следами штопки и латания, виделась только лишь эта женщина, своим здоровьем и крепостью одолевающая всю ту нищету, что окружала ее.

Павел невольно приостановился. Он почувствовал сильный мужской порыв, который наполнил все его тело, так давно, бесконечно давно не знавшее женщин и жаждущее ласки.

Незнакомка оглянулась, увидела его, кажется, все поняла и стыдливо оправила платье.

От реки поднимался дурманящий запах куги, аира, разогретого солнцем верболоза. Все чувства Павла обострились, и ему показалось, что сквозь эту волнующую смесь он ощущает запах молодой, сильной, летней женщины. Незнакомка уже пришла в себя и теперь с любопытством и даже с каким-то вызовом взглянула на Кольцова.

Павел на минуту опустил глаза. Он понял, что смотрел на женщину слишком откровенно и грубо.

Журчала вода у разрушенной старой плотины на реке, жужжали пчелы, прилетевшие с чьей-то пасеки.

– Вы кого-то ищете? – певуче спросила женщина. Голос у нее был с модуляциями, переливающийся, легко и естественно взлетающий к высоким тонам и вдруг опускающийся на

нижние. Может быть, она тоже волновалась? Павел взял себя в руки и прямо взглянул ей в глаза. Если, конечно, разбирать это лицо по чертам и всем особенностям беспристрастно, то оно, без сомнения, было просто милое лицо живой и энергичной женщины лет тридцати, но Павлу оно показалось необыкновенно красивым. Волосы на солнце отдавали в рыжину.

– Да, я ищу Ивана Платоновича, – промолвил Павел тусклым, без интонаций, голосом. – Мне там сказали… сказали, что вы можете что-то знать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.